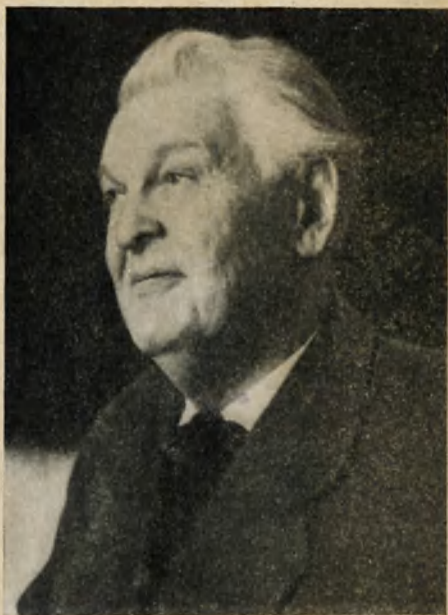


БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 26

1961



Михаил САДОВЯНУ

В МОЛДОВСКОЙ СТОРОНЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Михаил САДОВЯНУ

В МОЛДОВСКОЙ СТОРОНЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с румынского

Издательство «ПРАВДА»

Москва, 1961

Михаил САДОВЯНУ

Предлагаемые вниманию читателя рассказы относятся в большинстве своем к тем произведениям М. Садовяну, которые в довоенные годы горели на кострах фашистских громил.

Нетрудно понять причину этой звериной ненависти фашистов. Сын крестьянки, внук крепостного, М. Садовяну всю жизнь считал себя полномочным представителем трудового крестьянства Румынии. Он воспел в многочисленных книгах нерасторжимое единство хлебопашца с родной природой, мирные поэтические традиции жителей сел, их трудовые будни и неутихающую борьбу за землю и справедливость. Так появились произведения о «приглушенных страданиях», «кротах», «горемыках», «боярских грехах»...

На страницах исторических произведений Садовяну запечатлены эпизоды героической истории Молдавского княжества. Главным героем этой поэтической летописи снова выступало крестьянство—«соколы», «государевы люди», громившие боярские усадьбы и творившие чудеса храбрости в битвах с ордами захватчиков.

Определить основное содержание мира садовяновских книг нетрудно: это поиск, неустанный поиск социальной правды.

Только в 1945 году, сорок лет спустя после появления первого сборника рассказов, обрел писатель эту правду. Тогда он сказал своему народу вешние слова: «Свет идет с Востока!» В устах гуманиста Садовяну слово «свет» означало «мир», «социальную справедливость», «счастье». И новые творения художника: «Митря Кокор», «Приключение в пойме Дуная», «Железный Ключ» — отразили этот процесс установления мира и социальной справедливости на румынской земле.

Ленинская премия «За мир между народами» достойно венчает литературную и общественную деятельность М. Садовяну, председателя Румынского национального комитета защиты мира, члена Всемирного Совета Мира, заместителя председателя Великого Национального Собрания РНР.

М. ФРИДМАН

В МОЛДОВСКОЙ СТОРОНЕ

Дед Вырлан был тощ и непомерно высок — только запрокинув голову, я мог разглядеть пунцово-красный клюв, заменявший ему нос. Мне минуло тогда двенадцать лет, но для деда я был по-прежнему «козявкой». И в те каникулы я не отставал от него ни на шаг.

Человек он был веселый и водил знакомство со всеми хозяевами в нашем рэзешском¹ селе.

К тому же дед был известным охотником. По всей округе не нашлось бы местечка, которого бы он не разведal. И наконец, когда мне вздумалось учиться церковному пению, я опять очутился под его крылышком: дед был певчим и стоял на правом клиросе. Я старательно вторил ему, а порой отваживался опеть обрывок «славы».

По этим трем причинам я бегал за дедушкой Вырланом, словно сосунок за маткой. По воскресеньям, отстояв «службу» во Введенском храме, я отправлялся бродить по селу. И до чего же радостно было слышать, как тараторит дед Вырлан, обмениваясь колкостями с нашими рэзешами! Впрочем, те тоже за словом в карман не лезли... Потом мы заходили к нему домой, усаживались в плетеную тележку, прихватив с собой ружье,— и айда в поле или на пруды, к самой Жидовине. Когда начинало сосать под ложечкой, мы, бывало, уже подъезжали к Родникам Насредина. Мы усаживались на траве между черными глазками ключей, ели житник с овечьим сыром и красным луком, баловались грушовкой и под конец, став на колени, освежались водой из большого родника.

Так вот послушайте, что с нами однажды приключилось.

Попросила матушка дедушку Вырлана завернуть в Кот, посмотреть, убрали ли лошкари-поденщики кукурузу на нашем поле.

Мы завернули, посмотрели. И тут деда осенило.

¹ Рэзешы — свободные крестьяне-однодворцы в Румынии.

— Слушай,— говорит,— сосунок! Обратно мы этой дорогой уже не поедem. Махнем-ка лучше виноградниками через Костешть и спустимся в Мельничную балку. Вдруг с несжатых полей да и выскочит на нас какой ни на есть зайчонок...

— Ладно, дедушка,— отвечаю я,— поедem через Костешть,

Поехали мы в гору к виноградникам в блеклых лучах осеннего солнца. Сухо шелестела неубранная кукуруза. В мягком свете парили пушинки.

Подъезжаем к пригорку, а там — глядь, другой местный охотник, Ставэр, седовласый, низкорослый, плотно сбитый рзеш. Потому-то и прозвали его «дедом Чувалом». Дедушка Вырлан еще издали гикнул ему. Потом, поравнявшись, остановил телегу.

— Эгей, как живешь-можешь, кум Ставэр?

— Да что со мной делается? Живу! Вот собрался подстрелить лису.

— Какую такую лису?

— Да здешнюю, какую же еще! Из Мельничной балки. Это она сожрала у меня восемнадцать утят — откормленных, четырехмесячных. Девять цыплят сожрала, самых крупных, хохлатых. Старуху мою чуть было паралик не хватил. «Ну,— говорит,— муженек, если не убьешь лису, не жить мне больше на этом свете». Что тут будешь делать? Вот я и вышел стрелять лису.

— Какую лису?

— Из Мельничной балки. Это она самая. Иной быть не может.

— Ладно,— говорит дедушка Вырлан,— поедem стрелять лису. Дед Ставэр взобрался на тележку позади нас. И мы отправились стрелять лису.

— И моя старуха все лето жаловалась,— заметил немного погоды дед Вырлан.— То двух уток недосчитается, то двух-трех каплунят.

— Оно самое,— фыркнул дед Чувал.— Это лиса их прикончила.

— Теперь и я думаю, что это лиса.

— Лиса из Мельничной балки,— подтвердил дед Чувал.— Непременно она!

Дед Вырлан повернул к нему свой красный нос.

— А ты откуда знаешь, что это непременно та самая лиса?

— Георге сказывал.

— Какой Георге?

— Георге Доминте. Говорит, в Мельничной балке есть лиса. Должно, та самая.

— Хм, видно, так,— соглашается дедушка Вырлан.— Должно, та самая.

Так мы едем, трясясь по колдобинам, и наконец въезжаем в виноградники наверху холма. Дедушка Вырлан останавливает Руску — пусть передохнет. Тут у Ставэра мелькнула новая мысль.

— Вот что, — говорит он, — нужно завернуть к Георге Доминте гончих взять.

— Дело говоришь, — отвечает дед Вырлан. — У Георге Доминте отменные гончие. Чем зря торчать у логова, лучше пустим гончих вниз, в камыши да в ивняк. Ежели она вышла на добычу, то псы нас непременно к ее норе приведут...

— То-то и оно! — убежденно говорит дед Чувал. — Никуда она от нас не денется...

— Куда ей, к лещему, деваться! Мы стрелки бывалые!

Едем к Георге Доминте. Но-о, Руска!

Минуем заросли терновника. Сворачиваем на дорожку между виноградниками. Проезжаем первые ворота.

Вдруг слышим голос. Окликает нас кто-то. Видать, мы кому-то нужны до зарезу.

— Эй, люди добрые, эй! Погодите чуток!..

Останавливаемся. Тпру! Стой, Руска!

Хозяин с непокрытой головой, в выпущенной поверх портков рубашке бежит к нам, машет левой рукой:

— Обождите, люди добрые!

Ждем. Человек подходит. В правой руке у него жбан, по нему узор выжжен.

Мои спутники знакомы с хозяином. Здороваются, справляются о самочувствии. Услышав, что мы едем травить лису, хозяин протягивает нам жбан.

— Отведайте, люди добрые, свежего мусту. Неужто так и проедете мимо давить, томясь от жажды и зноя! Выпейте на здоровье!

Дедушка Вырлан и дед Чувал не отказываются. Да и как тут откажешься — это ведь добрый стародавний обычай нашего подгорья.

Дедушка Вырлан берет меня за загривок и подталкивает к жбану.

— Давай, внучек, — весело говорит он. — Приложись и испей мусту. Потом утри рот рукавом да скажи «благодарствуйте».

Я сую нос в жбан. Меня обволакивает теплое благоухание, муст шипит и щиплет мне язык. Пью глоток, другой, третий. И еще, и еще...

Потом опускаю жбан. Старики смеются, поглядывая на меня.

— Ишь, сердешный... Видать, от доброй лозы...

— Это про что? — спрашиваю. — Про муст?

— Понятное дело,— отвечает, подмигивая, дедушка Вырлан.— Давай, кум Ставэр, выпей, да поедем быстрее, не то опоздаем.

— Да-да,— поспешно отзывается из самого жбана дед Чувал и пьет, пьет, потом, шумно отдуваясь, показывает свое красноватое лицо.

Жбан переходит к дедушке Вырлану. Пьет и дед Вырлан. Пьет полегоньку, но без передышки до самого дна. Потом оба кланяются хозяину, желают ему доброго здоровья, и дедушка Вырлан огревает кобылу кнутом.

— Ну! — кричит он.— Попили и хватит. Спасибо! Добрый муст! Помогай богородица тому, кто нам его поднес. Счастливо оставаться, мы спешим!

И мы едем. Едем, понятно, быстро.

— Непременно надо гончих прихватить,— уверяет нас дедушка Вырлан.— Без гончих проку не будет! А хорошие обычаи, кум Ставэр, в нашем подгорье.

Очень хорошие обычаи. Проезжаем еще шагов сто. Минуем другие ворота. Там пышная хозяйка — подол подоткнут, рукава засучены — уже дожидается нас со жбаном. Веселая. Тоже знает нас.

— Батюшка, да это же крестный и дядюшка Ставэр! Повремените, отведайте нашего муста. Нельзя же так проезжать мимо ворот... Как поживает сватья Илинка? А крестная Мариоара?

Мы торопимся, но делать нечего. Останавливаемся, пьем муст у крестницы Настасии. Отменный муст, красный. Дай ей бог здоровья! Только дело-то ведь у нас спешное!

— Что за дело? А то попробовали бы еще беленького...

— Нет, нельзя,— решает дедушка Вырлан.— Мы едем лису стрелять.

— Какую лису?

— Из Мельничной балки, какую же еще? Пожрала у нас всех уток и всех цыплят. Но теперь-то мы с нее шкуру сдерем...

Распростились мы с крестницей Настасией, едем дальше под тенистым навесом терновника. Торопимся. Но вот доехали до третьих ворот.

Тут из виноградника раздается оглушительный голос:

— Эй, люди добрые, эй! Пойдите, эй! Повремените малость! Эй, люди добрые!

После жбана красного муста дедушка Вырлан, вижу, сердит на лису больше, чем Ставэр. Он хочет ехать дальше.

— Некогда нам стоять! — решительно заявляет он и стегает Руску.

Но виноградарь не может мириться с таким нарушением дедовских обычаев. Это высокий, плечистый здоровяк. Он машет

нам большущим жбаном с такой легкостью, будто у него в руках маленький кувшин.

— Слышь-ка! Постойте, люди добрые! Постойте, а то рассержусь, хуже будет!

Что подаешь! Надо остановиться, нельзя сердить хозяина. Останавливаем Руску. Здоровяк подходит, брови немного нахмурены, но улыбается он дружелюбно и подает нам жбан.

— Не обходите нас, православные, попробуйте!

Ладно, пробуем. В меня, чувствую, уже больше не входит. А дедушка Вырлан и дедушка Ставэр веселеют. Пьют, отдуваются: потом опять по очереди утыкаются носами в жбан.

Хозяин, потчующий нас,— человек приветливый и веселый. Узнаю, что зовут его Петре Амайчий и что он тоже каким-то образом сродни моим охотникам.

— Знаете что? — говорит дядя Петре.— Я вижу, вы на охоту отправляетесь. Я бы тоже не отказался поехать с вами.

— Добро! — смеется дедушка Вырлан.— Мы едем за гончими к Доминте.

— А зачем это вы едете за гончими к Доминте?

— Лису травить.

— Какую лису?

— Лису из Мельничной балки,— веско говорит дедушка Вырлан.— Она пожрала у нас уток и кур. И до того я осерчал, что ни покоя, ни отдыха не знаю. Не отстану, пока не подстрелю ее!

— И я не отстану, пока не подстрелю! — благодушно добавляет дедушка Ставэр.

— Ну что ж, и подстрелим! — решительно кричит великан.— Заводите кобылу с тележкой во двор. Я пошлю мальчонку известить Доминте. До него рукой подать. А потом пойдем пехом... Все равно мне не влезть в вашу тележку. Подстрелим ее непременно!

Так как мы ужасно торопились, дедушка Вырлан сразу же натянул вожжи, Руска свернула вправо, и мы оказались на винограднике Петре Амайчий. Мальчонка тут же побежал известить Доминте, чтобы тот привел гончих. А покуда мы ожидали Доминте с гончими, из-за угла давилъни появилась хозяйка Петре, раскрасневшаяся, держа карпа на вертеле.

— Батюшки,— говорит она смущенно,— а я и не знала, что у нас гости!..

— А как же! Гости, гости!.. — с важностью пробасил Петре Амайчий.— Поджарь-ка, жена, карпа как следует да приготовь чашечку муждей¹. Очень уж нам недосуг.

— Куда это вы торопитесь?

¹ Муждей — приправа из толченого чеснока с уксусом и солью.

Дедушка Вырлан решительно ответил:

— Всенепременно лису надо подстрелить!

— Понятное дело! — соглашается великан. — Смотри, жена, чтобы мамалыжка разварилась хорошенько, а о мусте я сам позабочусь.

— Обязательно нужно ее застрелить и шкуру снять... — заключил с какой-то ленивой горечью в голосе дедушка Ставэр, пристально глядя на очаг и на карпа.

Вскоре объявился Доминте с ружьем и гончими. Он привязал собак возле давяльни. И только успела жена Петре выложить на трехногий столик карпа на вертеле, только принесла дымящуюся мамалыжку из молодых початков, как с тропинки у подножия виноградников донеслись веселые звуки скрипки. То был Кэлдаре, знаменитый в наших местах музыкант.

— Пожалуйте к столу, — говорит Петре, — немного поедим, выпьем пару кувшинов муста и сразу же в путь!

Между тем дедушка Вырлан все больше распалялся.

— Не пойду домой, пока лису не застрелю! — кричал он во всеуслышание. — Я покоя лишился. Не могу своей старухе на глаза показаться. Я такой человек: шутить не люблю. Что сказал — свято!

Дедушка Ставэр изо всех сил старался успокоить его, да где уж там! А потом пришли скрипачи: на давяльне Петре Амай-чия собрались все хозяева с ближних виноградников и стали пить молодое вино; они пили до самого вечера, а затем и до поздна, сидя у костра из сухого валежника; и все поклялись дедушке Вырлану, что отправятся стрелять лисицу из Мельничной балки. А то из-за нее, проклятой, житья совсем не стало.

В ПЕТРИШОРОВОЙ ПУЩЕ

Август был на исходе; под тенистыми сводами старой неискоженной Петришоровой пущи царила тишина. Лес тянулся по покатым холмам, в отдалении взбирался на отвесную кручу, на вершине которой, пронзая стрелой небесную высь, стояла древняя ель, возвещавшая протяжным стоном о приближении ветров. Лес полого поднимался к западу, и солнце, всплывая на утреннем небе, все глубже проникало в глухие чащобы.

На опушке, в густом подлеске, свет струился сплошным теплым потоком лучей; роем вилась мошкара, резвясь в торопливой игре: то показывалась в лучах солнца, то терялась из виду. В ярком одеянии, напоминавшем по цвету желток, на устремленной к солнцу буковой ветке сидела иволга. Вытягивая шею, она время от времени заливалась булькающей трелью, и лесная

чаща долго звенела в ответ. На гибких веточках перекликалось пестревшее разноцветным оперением мелкое певчее племя. Были там и щеглы с багряными пятнами на крыльях, и кругленькие синички с серыми и черными перьями, и зяблики с кирпично-красными грудками. Они глядели друг на друга сверкающими, точно булабочные головки, глазками, раскрывали клювики, издавали свои отрывистые, звучные призывы и, легко вспорхнув, улетали. А веточки после них еще долго качались, чуть вздрагивая гладкой листвою.

Как это всегда бывает летним утром, подлесок был переполнен трепетным дыханием маленьких жизней. В воздухе носились букашки с прозрачными или голубыми крылышками; над густой, овеянной теплым ароматом травой порхали бабочки. В лежке, вырытой в земле и обложенной соломой и листьями, притаился, вытянув вдоль сгорбленной спины длинные уши, рыжий заяц; он чутко дремал, обласканный теплом. Глаза его порой внезапно загорались, потом опять тускнели, и раздвоенная мордочка тихо вздрагивала, как во сне.

На лесных тропинках было еще сыро. Кое-где только можно было уловить едва слышное движение жизни: неясный, тихий, замирающий зов; медленно покачивался тонкий горный дубок; шелестела листва прошлых лет.

К полудню лесные поляны огласились далеким напевом охотничьего рога. В ответ раздался звонкий лай собак: тяф, тяф! Вскоре послышались человеческие голоса. Обшаривая взглядом заросли, двое охотников вошли по тропинке в чащу. Один был «барин» — это легко угадывалось по его одежде из зеленого сукна, по шляпе с пером сойки, по чистому, сверкающему ружью без курков. Это был упитанный, краснощекий молодой мужчина с маленькими светло-русыми усиками, небольшим животиком, довольным лицом и веселыми глазами. Второй, лесник, был широкоплечий здоровяк с густыми черными усами и ясным, спокойным взором. На левом боку он носил ягдташ с латунными пуговичками, в руке держал дробовик, под курки которого, чтобы уберечь их от ржавчины, клал по лоскуточку заячьей шкурки.

— Ну-ка, Василе, покличь опять псов... — сказал барин, взглянув в сторону лесника.

Тот поднес к губам висевший на правом боку рог и, повернувшись к опушке, трижды протяжно протрубил. Еще не затихли вдали слабые отзвуки рога, как в ответ трижды визгливо тявкнула собака.

— Это моя гончая, — прислушиваясь, сказал лесник.

Тут же раздался другой, более явственный и громкий лай.

— Сюда, Фришка, сюда! — позвал лесник.

Лай приближался. На тропинке, в двадцати шагах позади них, показалась красивая собака, черная, рыжемордая. Она повернула голову направо, потом налево и побежала к охотникам.

— Сюда, Осман! — крикнул барин. — Где ты пропадал, подлец этакий?

Пробираясь, словно ящерица, между кустами, вышла на тропинку и гончая лесника, тощая — хоть все ребра пересчитай. Василе, подняв руку, склонился над ней. Фришка с тихим визгом распласталась на земле и завилыла хвостом.

— А теперь в путь, господин Григорицэ, — сказал лесник, выпрямляясь. — Пойдем прямо вперед. Быть того не может, чтобы не попались нам косули на их же тропке... Я еще вчера их видел...

Неслышно ступая своими сапогами с длинными голенищами, они двинулись по влажной лесной дорожке. Взятые на сворку собаки мирно брели позади.

— Вот тут, на этой опушке, уложил я в прошлом году тех двух волков, — заметил Василе.

— Именно тут? — полюбопытствовал господин Григорицэ.

— Да, тут. Двух. Остальных я добил в других местах... Как только ляжет первый снег, у меня одна забота... Такая злость берет на этих зверей, что и словами не скажешь! Как нападку на след, нет мне больше покоя. Это вроде хвори, господин Григорицэ. Страшное дело... Не ем, не пью... Стало быть, прихожу я сюда, господин Григорицэ, а на тропинке на этой, глядь, волчий след. Много следов на снегу... Это было, почитай что после Андрея Первозванного, о ту пору волки стаями ходят. Нашел я, значит, след, пошел по нему, вижу: ведет он вон из леса, потом обрывается и опять попадает ближе к деревне, а там идет обратно в плавни... И решил я, что они, видно, в плавнях отсиживаются. Поворотил я к краю леса, спрятался меж кустов и стал им подвывать... Раз подываю, другой, слышу: откликаются из плавней. Там они и сидели в камышах. Зову опять и жду. Глядь, идут... Шестеро. А впереди, господин Григорицэ, матерый лобан, во какой!.. — И Василе, выругавшись, показал, какого роста был волк. — Стал я повизгивать; они остановились, понюхали воздух, потом пошли на меня, волоча хвосты по снегу... Я молчу... Подошли они поближе. Тогда я поднял ружье и выбрал вожака. — Тут Василе опять выругался. — Прицелился я, барин, спустил курок, и волк мой тут же кольцом и свернулся на снегу. А когда второй перепрыгнул через него, я прицелился и выстрелил — он лег поперек первого.

Лесник остановился, повернулся к собакам и осмотрел курки.

— А что же остальные? — спросил барин.

— Поскакали к лешему... Не ждать же им еще одного выстрела.

Барин с довольным видом улыбнулся. Не останавливаясь, он достал кистет. Подал леснику щепотку и себе свернул. Василе выскочил огонь. Оба прикурили. Вдыхая лесную прохладу, они молча шагали под ветвистым сводом, сквозь который то и дело пробивались лучи солнца.

Белочка вскарабкалась по стволу дерева, стоявшего на пути охотников. Сверкнув черными глазенками, она притаилась за толстой веткой, перелетела, будто рыженький волосатый мячик, на другое дерево и скрылась в листве. Барин, вздрогнув, схватился было за ружье, но тут же опомнился. Василе тихо заметил:

— Малая, безобидная зверушка.

Так они шли некоторое время в полной тишине, вдыхая влажные запахи леса. Дятлы долбили кору деревьев. Вдали раздавались печальные вскрики и тонули в неподвижной листве.

Наконец лесник остановился.

— Сюда, господин Григорицэ,— сказал он.— Повернем вправо, вон по этой ложбине. Только сторонитесь ветвей — тут не пройти. Внизу земля очень влажная: речка недалеко, там следы...

Они спустились отлогим склоном, продираясь сквозь глухую стену непроходимых зарослей.

— Осторожно...— проговорил Василе, и в голосе его прозвучало нечто необычное, похожее на шелест ветра в долине.

И опять они шли некоторое время и опять остановились. Собаки беспокойно натягивали цепочки. Василе склонился над размокшей глиной:

— Вон, видать, свежий след...

Господин Григорицэ тоже наклонился, внимательно изучая след. Затем отодвинул ягдташ на левый бок, охотничий нож — на правый, натянул шляпу на лоб и приготовил ружье.

— Ну-ка, Осман,— сказал лесник,— понюхай след. И ты тоже, Фришка. Ну, чего ты? Не чуешь, что ли, козьего духа?

Спущенные с привязи гончие разом кинулись бежать по ложбине и вскоре исчезли в кустах.

— А мы тем часом выйдем на лужайку и подождем,— предложил Василе.— Гончие непременно поднимут их... Не глядите, что моя собака неказиста с виду, господин Григорицэ. Она с ними ловко управляется... Подводит косулю под самую мушку...

Молодой барин был слегка взволнован. Он дважды глубоко вздохнул и последовал за Василе, держа наготове ружье. На пологой ложбине внезапно открылась уединенная лужайка; казалось, она недвижно дремала, окутанная золотистой пылью.

Лесник поднял голову. Барин вздрогнул. В глубинах лесной чащи дважды прозвучал лай гончих, гулко отдаваясь под бескрайними сводами.

Охотники ждали. Не слышно было птичьего голоса; ни одна букашка не пролетала в лучах солнца. И снова через ровные промежутки времени раздался лай собак, на этот раз более частый и отдаленный. Лесник поднес рог к губам и дважды протрубил — пуща всколыхнулась до самых дальних чащоб, многократно отзываясь.

И вдруг, пока они, ничего не подозревая, прислушивались к далекому лаю гончих, из густого кустарника под шелест листвы выскочила косуля и в пяти шагах от барина стрелой промчалась на тонких, проворных ногах.

Лесник вздрогнул. Господин Григорицэ подпрыгнул, словно кто-то напугал его во сне; быстро приложившись к ружью, он выстрелил два раза подряд. Сквозь клубы рассеивающегося дыма он увидел стремительно убегающую вдоль лужайки косулю. Судорожно глотнув, он дрожащими руками перезарядил ружье. Дым медленно отнесло в сторону, и барин увидел прицелившегося лесника.

— Стреляй! — крикнул господин Григорицэ.

Ружье Василе громыкнуло. Грохот выстрела слился с отзвуками двух первых. Мелькая среди деревьев, косуля подскочила на бегу и тенью скользнула между коричневыми стволами. Охотники потеряли ее из виду.

Лесник снова зарядил и спокойно заметил:

— Больно далеко была...

— Как же это она так промчалась? — негодовал барин. — А я и не подозревал... Все собак слушал... Вот и поторопился, рано выстрелил.

— Это все от неожиданности... — тихо объяснил Василе. — Ничего... Собаки другую пригонят. Мы ведь на козьей тропе.

Оба внезапно замолчали, напрягая слух. Гончие приближались с лаем. Лесник снова поднес рог к губам.

— Как же это, а? — шепнул барин, досадливо разглядывая ружье.

Стало тихо. Долгое время не слышно было лая собак. А по густым зарослям и небольшим прогалинам скакала к речке, подгоняемая страхом, косуля. На мгновение она остановилась, дрожа, словно очутилась над пропастью. Потом уже медленнее пробралась сквозь кусты и вышла к речному руслу. Там она остановилась, погрузив передние ноги в воду. Серая шерстка тускло светилась в тени; луч солнца озарял лишь нежную головку с большими глазами и чутко наставленными ушами. Некоторое время она прислушивалась, затем склонила голову и

дважды коснулась воды у тонких ног. Потом опять насторожилась. В прозрачную струю скатилась капля крови. Левая передняя нога судорожно сжалась и задрожала. Из раны на плече медленно сочилась кровь. Капли крови падали все чаще, окрашивали прозрачную воду. словно желая получше разглядеть себя в запотевшем речном зеркале, косуля медленно склонила голову. Потом издала звук, похожий на легкий стон, и повернула голову к кровавому пятну. Она стояла так долго, изредка склоняясь к воде. Порой по серой шерстке пробегала легкая дрожь. А далеко позади звучал охотничий рог, и лай гончих доносился глухо и еле слышно.

Косуля отступила на прибрежную мураву, и голова ее скрылась в тени. Лучи освещали теперь только речные струи. Она опустилась на мягкий травяной ковер и лежала так, время от времени поворачивая голову к кровоточащей ране. Вдруг из тех же кустов, из которых она только что вышла, вынырнул испуганный козел с высокими, прямыми рогами. Он остановился рядом с косулей и обнюхал ее, вытянув шею. словно желая что-то поведать, она чуть слышно замычала и подняла к нему сухую мордочку. Но позади под гулкими сводами леса опять прокатился звук рога; козел встряхнулся, легко перескочил через ручей и скрылся в чаще.

Словно подстегнутая новым приливом сил и страха, косуля поднялась и снова ступила в воду. Слегка прихрамывая, она двинулась на трех ногах короткими, неторопливыми скачками вверх по течению. Шла она в гору, а капли крови все катились по левой ноге, сливаясь в красные струйки. Деревья вокруг стояли неподвижно. Кусты папоротника на берегах расступались, пропуская ее и, покачиваясь, снова выпрямлялись за нею; некоторое время над косулей с легким писком кружила малиновка, потом куда-то скрылась.

Время шло. В лесу повеяло прохладой. На лужайках свет отступал к вершинам деревьев; седой тополь, подрагивая тонкими ветвями, играл переливчатым монистом листвы.

Косуля поднималась по руслу реки. Берега по обеим сторонам становились все выше. Воды текли быстрее, журча среди острых камней, перескакивая через них и разбиваясь на множество серебристых шариков. Косуля переступала с камня на камень черными, словно из эбенового дерева, копытцами и медленно двигалась в гору, а по ноге все сочилась теплая кровь.

На самой вершине, уходя листвой в небесную лазурь, стояла ель, предвестница ветров. Ниже, на каменистом ложе русла, речка разливалась прозрачным прудиком, охваченным кольцом берез. Мелко рябясь, вода растекалась по горному мху и, утихнув, застывала прозрачным зеркалом, отражавшим небо и свет-

лые кудри берез; потом опять начинала струиться и с неумолчным журчанием медленно катилась в низину.

Косуля остановилась в высокой траве между березами. Свежий ветерок разносил в разные стороны теплые еще ароматы лесных цветов. Голова ее с черными глазами мелькнула в зеркале волн у самого берега. Усталая, обессиленная, она опустилась на землю. И долго лежала молча, устремив глаза к водной глади, в торжественном безмолвии леса. Казалось, она к чему-то прислушивалась, о чем-то думала; по телу порою пробегала легкая дрожь.

Тени вокруг сгущались. На вершинах угасли последние солнечные блики. Иногда по лесу проносился легкий шелест, потом опять наступала глубокая, неземная тишина. Косуля одиноко лежала на берегу, и кровь стекала в мягкую лесную мураву. Один раз она склонила голову к воде и опять замерла. Далеко-далеко раздавался печальный, все более глухой зов охотничьего рога; уже не слышно было собачьего гона. Вечерело. На вершине тихо вздохнула ель. И в этом безмолвии на темном отражении неба в воде замерцала золотая слезинка первой звезды. Косуля чуть слышно замычала; глаза ее сверкали в последних отсветах, заливших берег. Так она умирала в одиночестве под кудрявым навесом белоствольных берез...

КОНВОЙ

Второй конвой плевненских¹ военнопленных отправился 2 декабря в Румынию под охраной трех стрелковых рот 12-го доробанцкого² полка и двух кавалерийских эскадронов. На следующий день он был достигнут в пути неистовым снежным бураном.

Свирепый ветер царапал щеки, будто плохо наточенная бритва. На крыльях его неслись, беснуясь, вихри мелкого снега. Порою все впереди тонуло в огромных синеватых вихрях, вздымавших снег до самых туч. По гребням холмов катились исполинские снежные валы. Они взлетали ввысь, кураясь зыбучими клочьями, похожими на брызги пены, и стремительно низвергались в ложбины. Под дикое завывание снежного урагана брели три тысячи пятьсот турецких солдат, вынесших столько страданий и лишений в осажденной Плевне. Они шли понурые и тесно прижимались друг к другу, сгибаясь под напором снежных вихрей. Шли мокрые и дрожали, пронизанные резким хо-

¹ Плевна — турецкая крепость в Болгарии.

² Доробанц — пехотинец.

лодом. Наши пехотинцы и конники, шагавшие впереди и сзади колонны, виднелись, как в густом тумане. В этом смутном скоплении островерхих башлыков и развеваемых по ветру шинелей лишь ряды штыков да затворы карабинов сверкали стальным блеском.

В толпе никто не разговаривал. Кони медленно продвигались вперед, открывая широкий первопуток в высоком снегу. Стиснув зубы, тяжело дыша и поддерживая друг друга, шаг за шагом месили пехотинцы разрыхленный снег. Ветер яростно подхватывал снежную пыль, вздымал ее большими белыми полотнищами и снова бросал на землю, рассеивая над сугробами.

Силы воинов Османа были на исходе. В летней одежде и рваной обуви, усталые от боев и бессонных ночей, они с трудом волочили ноги, все время спотыкались и толкали друг друга. Снег набивался в рваные сапоги, сквозь изодранную одежду пробирался к телу. А они все шли и шли, вобрав головы в плечи и отогревая пальцы под мышками. Глаза их лихорадочно горели; видно, крайнее отчаяние придавало им силы, они крепилась под взглядами врага.

Было очень тяжело. Наши парни, привычные к подобным переделкам, и то еле передвигали ноги.

— Черт! Тяжко! — вздыхал шедший в арьергарде старший сержант Микю; вынимая правую руку из рукава левой, он стряхивал снег с заиндевелых усов. — Сроду не видел такой завирухи!

— В чем дело, Микю? — крикнул подпоручик Кречун. — Чертыхнуться и то нельзя, снегом рот забивает!

— Тыфу! Чем так мытариться, уж лучше пропади все пропадом! — продолжал тот и крепко выругался.

— Еще бы, сынок! — кивнул подпоручик; онемевшие его губы под коротко остриженными усами растянулись в ухмылке, похожей на оскал. — Я бы тоже не прочь посидеть в тепле за стаканом глинтвейна да закусить жареным цыпленком.

Микю не то вздохнул, не то заревел:

— Э-эх! А я даже забыл, какие они на вкус, эти жареные цыплята.

Офицер и старший сержант шагали бок о бок. Общие горести сдружили их — дослужившего до офицерского чина кадровика и старшего сержанта запаса, бывшего примаря одного из сел Васлуйского уезда.

Закутанные в серые башлыки, они склонялись друг к другу под частыми порывами метели и перебрасывались редкими словами. Впереди брела беспорядочная толпа оборванных военнопленных, а вплотную за ними, нагнувшись к луке седла и уку-

тавшись в шинель, ехал верхом капитан. Позади него тесными рядами шли наши парни.

— Ничего,— проговорил Кречун.— Хорошо, что все, наконец, кончилось. Недолго осталось терпеть: доберешься до дому, а там все пойдет как нельзя лучше.

— Хоть бы уж было по-вашему, господин подпоручик! А то такого лиха нахлебались... Глазам не веришь, что цел и невредим остался. Как говорят: «Не приведи господь изведать всю меру человеческого терпения».

Подпоручик не ответил. Оба думали об одном и том же: об огненных шквалах, через которые они прошли. Их полк принял боевое крещение 27 августа, первым вступив в кровавую схватку под Гривицей. 31-го, на второй день после взятия Гривицы, началась новая заваруха: турецкие батальоны попытались выбить наших из захваченных редутов. Не будь 13-го полка, осилили бы турки наши роты, изнуренные длительными схватками минувших дней. Хорошо, что он вовремя подоспел, как при взятии Редана, и опрокинул турок прикладами в рукопашном бою. Потом разведка боем 4 сентября, траншейные работы в непогоду, внезапные ночные вылазки турецких отрядов, стычки с ними... Это и впрямь был многострадальный полк. Задумчивое молчание друзей красноречивее слов.

Так они брели некоторое время. Вдруг конь капитана захрепел и шарахнулся в сторону.

Микю поднял голову:

— Что такое?

— Стой! — крикнул капитан.— Трое пленных упали в снег.

Старший сержант и Кречун подались вперед. Шедшие за ними солдаты, сделав еще несколько шагов, остановились. Перед конем капитана, оторвавшись от медленно удаляющейся колонны, лежали в снегу трое пленных.

— Велите им подняться! — глухо прокричал капитан сквозь башлык, закрывавший лицо.

— Эй, вы, вставайте! — громко проговорил Микю, склоняясь над упавшими.— Вставайте, до села недалеко!

Турки стояли на коленях в снегу, тесно прижавшись друг к другу; глаза у них были сонные и усталые. Отяжелевшие веки смыкались. Синие от холода, они безудержно дрожали в своей куцей одежке. Челюсти у них оцепенели, губы были черными. Смысл слов до них уже не доходил.

— Эй, смирно! — гаркнул Микю и потянулся было к эфесу шашки, но тут же раздумал и отвел руку.

— Оставь их, не трогай,— сказал подпоручик.

— Что же нам с ними делать?

— Вот именно, братец, что нам с ними делать? — спросил капитан, не слезая с коня. — Гляди, мы и так уже отстали.

— Что ж, — отозвался Кречун, — нести мы их не можем. Люди и так едва ноги волочат...

Один из упавших поднял на них угасший взгляд и, сделав рукой движение, выразившее полную покорность судьбе, повалился на бок. Офицеры, сержант и стоявшие позади солдаты безмолвно смотрели на них. Пленные опустились в снег. Капитан тронул коня. Кречун приглушенно скомандовал:

— Вперед!

Они обошли турок. Упавшие остались одни в белой пустыне; сомкнув веки, они молча дожидались конца. А подпоручик и Микю долго шагали рядом, не проронив ни слова.

Много позже подпоручик поднял глаза и проговорил, указывая рукой вдаль:

— Смотри, как будто к селу подходим.

Унтер тоже выпрямился. Справа, шагах в двухстах, сквозь непроглядную пелену метели что-то чернело. Ветер ревел, словно разбушевавшийся поток.

— Нет, — отозвался Микю. — Должно быть, роща...

И действительно, приблизившись, они увидели обширную березовую рощу. Вьюга яростно завывала в тонких ветвях деревьев. Белые стволы раскачивались из стороны в сторону с такой отчаянной силой, что казалось, вот-вот рухнут на землю.

Они еще оглядывали рощу, когда снова раздался голос капитана:

— Стой!

— Опять кто-то упал! — сказал подпоручик.

На сей раз это был великан с бледным, осунувшимся от страдания лицом. Часто мигая, он что-то бормотал на своем языке.

— Вставай, человек! — обратился к нему Микю. — В село пойдем — отогреешься.

Турок беспомощно опустился на снег.

— Вперед! — скомандовал капитан.

И снова ряды солдат обошли упавшего. Пурга налетала все более стремительно; казалось, над толпой, хлопая огромными крыльями, проносились белые птицы. Сугробы вмиг погребли одинокого солдата, затерявшегося в голубоватой снежной пустыне.

С трудом пробивая себе дорогу, унтер немного погодя заметил:

— Наших, почитай, тоже из-за них немало полегло...

— Уж такова судьба человеческая, — отозвался подпоручик. —

Они тоже не виноваты. Жалко было наших, ох как жалко! Но в конце концов эти тоже...

— Так они же басурманы,— пробормотал Микю.— Многих доробанцев посекали они ятаганами.

— Это верно,— заметил Крзчун и тут же добавил: — Видал, как их быстро занесло?

— Кого? Нехристей? Видел, как же...— мягко отозвался унтер.

Снежный шквал снова налетел на них и залепил им лица. Сплеывая и отругиваясь, они пробивались вперед. Белые с головы до ног люди шагали плечом к плечу, обжигаемые ледяным дыханием пурги. Временами раздавался окрик капитана, люди расступались, обходя упавшего и оставляя его во власти бушующей над ним метели.

Уже вечерело, когда они достигли села. В синих сумерках снег стал валить спокойнее. Передние ряды, а за ними и все остальные кинулись в занесенные дворы. Жители выскакивали из низких хат, пытаясь столкнуться с офицерами и унтер-офицерами. Но никто не обращал на них внимания. Люди устраивались кучками, где и как могли. Срывая целые пролеты заборов, они ставили их против ветра, сгребали снег и в укрытиях разводили костры. В этой суматохе, казалось, все забыли об усталости. Молчаливые пленники, как будто понимая слова доробанцев, старательно топтали снег, возводя укрытия. Потеплевшие взоры предвещали начало братского сближения.

Шум понемногу утих, и лишь порывы ветра доносили звуки отдельных голосов. Большие костры полыхали ярким пламенем.

Доробанцы унтера Микю и вверенные ему пленники соорудили себе убежище между хатой хуторянина и широким соседним сараем. Унтер успел осмотреть хату; за ним по пятам следовал хозяин, молчаливый и угрюмый болгарин. Возмущенный Микю сразу выскочил во двор:

— Экая подлость, скажу я вам! Экая подлость!

Болгарин не отставал от него.

— Чего ты за мной увязался? — гаркнул унтер, дыша ему в лицо.

Крестьянин замер на месте. Микю подбоченился:

— Чего глаза на меня вылупил? Кто под Плевной дрался, пес? Ты или они? Ты здесь обжирался, на печке валялся, а теперь глаза пялишь: забор, видите ли, сломали, дрова пожгли. Не видишь — людям отогреться надо!..

Придвинувшись вплотную к болгарину, он спросил, таинственно щуря глаза, не хочет ли он что-нибудь добавить.

Болгарин ничего не хотел сказать; отступив на шаг, он за-

думчиво гладил большие, завитые кольцом усы, навёрное, думая о том, что должен был означать этот поток слов.

— Говори же! Хочешь что-нибудь добавить? — крикнул ему Микю в самое ухо и, хватаясь за саблю, гаркнул: — Пшел!

Крестьянин отскочил и скрылся в хате. Кислая, взъерошенная его физиономия показала в окне.

— Ну и ну! — пробормотал Микю, подходя к костру, вокруг которого, сидя на корточках, теснились пленные. — Страшное дело, скажу я вам. Безбожная душа!

— Безбожник-то он безбожник, господин старший сержант, — заметил один из капралов. — А скупой... не приведи господь!

— Н-да, скверный он человек, парень! Взять бы его как следует в оборот...

Затерявшиеся в гуще пленных солдаты тихо смеялись. Унтер протиснулся к огню, достал табакерку и скрутил сигарку.

— Доставайте еду и закусывайте, — обратился он к доробанцам. — А я, покуда не причащусь этим самым табачком, ничего в рот не кладу...

Снежный ветер яростно завывал в ветвях деревьев, окружавших дом, пробирался под навес к яркому пламени костра. Его отчаянные порывы сотрясали забор и камышовые плетни, взметали сугробы и остервенело бросали их, словно песчаные вихри, под навес, на костер.

Турки шумно дышали и, обжигаясь, грели у огня руки и ноги. Они до такой степени озябли и измучились, что совсем не думали о еде. Стуча от холода зубами, поворачивались они к огню то одним, то другим боком. Глаза у них блестели, и теплая сырость охватывала окоченевшие тела. Метель по-прежнему гневно вздымала снежные валы, а тут, у большого костра, в окаменевшие от горестей сердца закрадывалось робкое чувство покоя.

Порой кто-нибудь вставал и приносил охапку хвороста и дров. Костер, прикрытый на время подброшенным хворостом, снова разгорался ярким пламенем.

Из мглистого мрака к свету неожиданно вынырнула рослая фигура подпоручика.

— Как дела, Микю? — спросил он, приблизившись.

— Все в порядке, господин подпоручик, — отозвался тот. — Черномазые жарятся на огне.

— Пускай себе жарятся. Небось, набрались холода.

Доробанцы сняли башлыки. Огонь освещал их обветренные лица. Справившись с холодом, они потихоньку перешептывались. А пленники все еще молчали — видно, тела их по-прежнему были скованы стужей.

Крзчун опустил ся рядом со своим приятелем, верным другом в дни тяжелых испытаний.

— Поверишь ли,— признался он,— не дождусь, когда до дому доберемся.

— Что ж, теперь уж доберемся,— ответил Микю.— Одному господа богу известно, каково у меня будет на сердце, когда я переступлю родной порог и увижу жену и детишек!..

Оба задумались, неотрывно глядя на пламя костра и прислушиваясь к надрывному вою пурги.

Солдаты и пленники принялись за еду и, сомлев от тепла, жевали, уставившись в одну точку. Все молчали. Только много позже, когда вьюга ненадолго утихла, раздалось несколько тяжелых вздохов.

Понемногу разговорились. Доробанцы делились домашними невзгодами, пленники с измощенными лицами и глазами, истощенными глубокого страдания, о чем-то переговаривались горькими голосами... А Микю и подпоручик снова стали вспоминать минувшие испытания, сраженных огненным шквалом друзей, черные дни боев. Павшие лежали в чужой земле, под белым снежным саваном. Не дождутся их родные: они навеки для них потеряны. Наполнявшая душу безотчетная грусть незаметно уступила место жалости, давно изгнанной из сердец. Они молча оглядели толпу полураздетых врагов, которые грелись у костра и о чем-то тихо и печально разговаривали. Мысль незаметно обратилась к тем, кто остался позади: к безропотно павшим и похороненным вьюгой пленным — льдинки слез на глазах, уста, застывшие в безмолвном страдании... Оба молчали, проникнутые состраданьем к человеку, к несчастному человеку, кем бы он ни был.

Песни зимнего ветра жалобно носились в ночи, и снежинки, кружась и сверкая в свете костра, падали на грудь горящих углей. Глаза подергивались сонной пеленой, разомлевшие люди склонялись друг к другу. В тихом хоре говоривших выделялся голос доробанца; солдат рассказывал, что, уходя на войну, он оставил дома жену на сносях.

Но вот и он умолк. Теперь звучал лишь слабый голос щупленького турка. Кое-кто слушал его. А пленный говорил что-то невнятно, комкая слова, и в словах этих чувствовалась великая боль.

Наконец и он замолчал. Наши солдаты, простые и грозные в бою, дремали впереমেжку с язычниками.

Крзчун поднял флягу с водкой, выпил и протянул ее Микю. Они закусили, опять приложились к фляге. У унтера разгорелись глаза.

— А дома у меня, господин подпоручик,— начал он,— маль-

чонка ростом с вершок, не больше. Вот такой махонький. И звать его Михэицэ...

Крэчун устало кивал головой, задумчиво глядя куда-то невидящим взором. Под шум неутихающей бури маленький отряд дремал в тепле и свете костра. Люди лежали вповалку, с закрытыми глазами, и мир царил в их сердцах.

ГОРЕМЫКА

Четвертый день шумел, не умолкая, южный звонкоголосый ветер; земля стала просыхать; на берегу Сирета, в рощице на окраине села, кизил покрылся желтым цветом. Младший сыннишка Думитру Онишора погнал в поле шесть овец полакомиться свежими весенними побегими.

Это был тщедушный мальчонка с бледным личиком, еле волочивший по влажной земле тяжелые чоботы старшего брата. Вскинув на меня печальные, с поволокой глаза, он как-то нерешительно стащил с головы старую сплюсненную шляпчонку, напоминавшую гриб боровик. Поздоровался он тихим голосом, в котором слышалось недетское горе; затем, водворив шляпчонку на голову, взмахнул своим белым посошком и погнал овец к рощице.

— Как поживаешь, паренек? — спросил я его. — Овечек в поле погнал?

— Отец послал меня пасти их, — остановившись, серьезно произнес он тоненьким голосом, слегка пришепetyвая.

Овцы тоже остановились и выжидательно повернули головы к своему пастуху.

— Ну и как, Никулэеш, справишься с эдаким гуртом?

— А чего же не управиться? Да вишь — пасти некого стало. Одно горе...

— Скажи на милость! А что же случилось?

— Что случилось? — переспросил он, подняв ко мне свое личико, обрамленное неровными прядями всклокоченных волос. — Да то, что нонешней весной попадали наши овцы — только вот шестеро и осталось...

Хотя «парень», с которым я вел беседу, был ростом с ноготок и пошел-то ему всего восьмой годик, но горе его было глубоко и неподдельно, — у меня сразу пропала охота шутить.

— И много их у вас пало, Никулэеш?

— Много, — уныло проговорил он, опершись обеими руками о посох, как это обычно делают настоящие пастухи. — А отец всякий раз, как свалится какая овечка, клянет все на свете и чертыхается; и меня иной раз дерет; а что я, разве в чем

виноват? А сегодня, вишь, новая беда: у самой околицы гнал тут один человек телегу, да и сшиб мне ярочку. Теперь она еле ходит, никак не отдышится. Помрет, верно, и она. Это была мамкина ярочка, она ее мне оставила...

Голос ребенка сразу стал глухим, в нем послышались слезы.

— А того, кто сшиб ярочку, ты узнал?

— Так он же нездешний... Я его не знаю.

— Чего же ты не вернулся домой и не рассказал отцу?

— А его дома нет. Он на пашне со старшими братьями.

— А почему ты сказал, что овечку эту мама оставила тебе?

— А вы не знаете? Нет у меня мамы. Померла она в рождественский пост, оставила нас сиротами. Теперь уж некому мыть меня да смотреть за мной. Слова доброго не слышу. Захворала она как-то, слегла, а в воскресный день и померла. А перед смертью погладила она меня по голове и сказала, что оставляет мне вот эту ярочку.

Малыш говорил печально и задумчиво, как взрослый. Мне хотелось приласкать его, но я никак не мог придумать, что сказать ребенку. Погладить его по вихрастой головке? Вряд ли это утешило бы его. Заметив, что я умолк, он внимательно взглянул на меня. Конечно, ни доброго слова, ни ласки он от меня не ждал...

— Пойду попасу овечек,— решительно проговорил он, продолжая свой путь, волоча по земле тяжелые чоботы и гоня посохом овец к прибрежной сиретской роще.

Я зашагал рядом по недавно просохшей тропке. На небе не видать было ни облачка, солнце щедро заливало светом поля, а вдаль сверкала в излучине водная гладь Сирета.

— Глядите, вон она, ушибленная ярочка,— пояснил Никулэеш, касаясь посохом овечки, которая, прихрамывая, понуро плелась за остальными.— Вот будет-то мне, коли и она падет: отругает и выдерет меня батя. Будто у меня и без того мало горя.

Он засопел носом и провел по губам длинным рукавом зипуна. Потом глубоко вздохнул.

— О чем горюешь, Никулэеш?

Малыш ничего не ответил на мой неуместный вопрос. Лишь немного времени спустя он снова заговорил:

— Когда мама хворала, я сидел при ней — ведь я меньшой в семье — и подавал ей водицы, если ей пить хотелось. Она вся так и горела. В хате никого больше не было — наши все на работе были. И мать наказывала, чтоб я слушался отца, когда она уйдет от нас. А я ее спрашивал: «Куда ты уйдешь, мамка?» А она отвечала: «Так я же, Никулэеш, скоро помру, только ты, сыночек, никому о том не говори...» И я никому не сказал, да отец

и без того знал и был сам не свой, все гневался, кричал все да спрашивал: «Долго ли ты еще хворать собираешься, а, жена?»

Малыш рассказывал тихим, скорбным голосом, не глядя в мою сторону, словно он беседовал не со мной, а, по привычке, со своими овцами.

— И что ты так медленно плетешься? — обратился он к своей ярочке. — Больно тебе? Повалил тебя и ушиб, злодей! Эх, был бы я постарше, хоть с брата Михая, я бы схватил того человека за грудки да так бы потряс! Чтоб не смел наезжать на моих ярок! Ладно, шагай тихонечко, в роще отдохнешь...

— А ты не бойся, Никулэеш, ничего с нею не случится, — сказал я ему.

Он встрепенулся и быстро взглянул на меня.

До самого берега реки мальчик не произнес более ни слова.

Рощица встретила нас цветущим орешником и кизилом. Лилые фиалки пробивались сквозь мертвую прошлогоднюю листву; голоса синичек и зябликов раздавались среди березовых веток, набухших почками. Вздвухшийся Сирет, точно сердясь на что-то, катил мимо рощи свои мутные, вспененные воды. Сынишка Онишора долго глядел на реку, а овцы тем временем разбрелись вокруг, пощипывая молодую травку мягкими губами.

— Глянь-ка, аисты, — заговорил Никулэеш таким голосом, словно продолжал дружески беседовать со своими овечками.

У противоположного берега чинно шагали по топям аисты с оранжевыми клювами. Потом над рощей со свистом пронеслась стая уток. Две чайки пролетели вдоль реки, изредка взмахивая острыми крыльями. Неожиданно я заметил в ярко освещенной роще красных бабочек; в окружающем нас уединении и безлюдье было что-то мягкое и доброе, как в сказках моего детства.

Я покинул Никулэеша одного на тихом берегу и направился вниз по реке к местам, напоминавшим мне о былых годах. Но образ ребенка не оставлял меня, скорбный его голос неумолчно раздавался в ушах моих. С матерью его, Ириной, дочкой Аврама, мы вместе учились в начальной школе, и мне особенно отчетливо вспоминались ее глаза, словно подернутые дымкой; такие же в точности глаза были и у малыша. Бойкой, живой девушкой, красавицей, разумницей — такой вспоминалась мне Ирина. И все эти неоценимые сокровища достались Думитру Онишору, хорошему хозяину, но угрюмому и скупому человеку. А теперь той Ирины уже не было; рассказ ребенка напомнил мне о минувшем, о безвозвратно ушедших светлых днях. Ирина ушла, оставив свою теплую душу и богатый ум ребенку, который стоял теперь в тени берез на берегу реки и беседовал со своими овечками.

На могиле ее, как, впрочем, это бывает на всех наших печальных погостах, не было ни надписи, ни цветка, и Онишор равнодушно пахал свою землю, помышляя лишь о грядущем урожае. Память об Ирине была жива лишь в этом тщедушном малыше. Нежность, мудрость, несмелые грезы, казалось, передались моему маленькому спутнику от матери в те одинокие, горестные вечера, когда они сидели рядом, оба в слезах, а за окном жалобно стонала зимняя вьюга.

Поднявшись на высокий берег, я оглянулся, точно меня кто окликнул. Мальчик по-прежнему стоял под березами; я смутно различал его, словно сквозь какую-то белесую мглу. Овечки паслись неподалеку. Синицы, тоненько посвистывая, повторяли свою вечно веселую присказку: «Чую лето! Чую лето!» И уж, конечно, Никулэш, по обыкновению, беседовал со своими овцами. Теперь он, должно быть, спрашивал ушибленную ярку:

— Ну, как ты? Еще больно?

И ярка отвечала ему тихим, ласковым блеянием.

— Смотри, не помирай, одна ты у меня осталась от мамы,— тихо говорил он ей.

Аисты лопотали в топях у противоположного берега. А он внимательно разглядывал их.

Синица пролетела над его головой, покрытой измятой шляпочкой, неумоимо посвистывая скрипучим голоском.

— Хорошо тебе, радуешься, заботы не знаешь,— шептал ей с упреком малыш. И тяжело вздыхал, как вздыхает человек, одолеваемый невзгодами и горем...

Вернувшись попозже, я застал его более веселым: ярка начала поправляться. С помощью ножа Никулэш мастерил себе сопелку из веточки ракиты. Он ласково взглянул на меня, и я был потрясен внезапными, точно из тумана всплывшими воспоминаниями и удивительным сходством его улыбки и его глаз с улыбкой и глазами той, что когда-то, давным-давно, расцвела, подобно весеннему цветку, и украсила этой улыбкой и мимолетно брошенным взглядом быстротечный час моей жизни.

ГЛАЗА

— Быть может, я скорее жертва рождественских рассказов, чем истинного происшествия, но факт остается фактом: я жертва, и я страдаю. Это бесспорно, и это заставляет меня поведать вам случай, который меня гнетет и о котором, сам не знаю, почему, я до сих пор еще не рассказал. Случилось же так, что сегодня как раз годовщина — первый день праздника, — и на дворе, как и тогда, промозглая, неприветливая погода.

Темнело очень быстро. В половине пятого наступил уже вечер, а в пять — полная тьма. Страшный ветер мчал потоки снежных игл.

Это был 1916 год — время войны и отступления. Я сидел в Подул-Илоаей, в канцелярии, являвшейся чем-то вроде пере-сылного пункта, который мы вместе с моим начальником, майором Микидуцэ, пытались организовать. К нам ежедневно прибывали люди, вырвавшиеся из пекла, измученные бесконечными скитаниями. Они целыми неделями месили затопленные осенней грязью дороги, теряясь и отставая от своих частей, и теперь начинали приходить в себя и собираться, направляемые в различные пункты Молдовы первыми агентами по формированию.

Ни я, молодой младший лейтенант, ни майор, седой резервист, не могли оправиться от пережитых потрясений. Мы все еще были ошеломлены ужасными событиями. Майор Микидуцэ, — легко заметить, что это было прозвище¹, — ежедневно доказывал всем, кто соглашался его слушать, как легко было превратить наше поражение в великую победу. Он показывал это на рваной карте костлявыми пальцами с отросшими ногтями. В десять минут одерживалась победа, и враг был разбит в пункте, закрытом указательным пальцем. Тщедушная фигурка майора, казалось, пыталась вырасти. Он энергично двигал бровями и подбородком. Потом он поворачивался к группе хмурых, измученных солдат, только что вышедших из вагонов.

— Что, братец, стоишь, как на похоронах? — кричал он тоненьким голоском. — Предъяви документы и мужественно шагай вперед. Младший лейтенант, позаботьтесь, чтобы первый пункт моих приказов был выполнен в точности.

Первое мероприятие по поднятию морального духа и формированию армии страны было нетрудно выполнить. Мы заставляли старого солдата стричь наголо американской машинкой всех новоприбывших. После этого люди оставались такими же несчастными, голодными, плохо одетыми, и я прилагал немало усилий, чтобы их хоть как-нибудь приодеть, и много спорил с майором, доказывая, что их нужно накормить в день прибытия, хотя они еще и не были зачислены приказом на довольствие. Его благородие пренебрежительно относился к рубашкам, перчаткам и обильной пище. «Все это только изнеживает человека», — заявлял он.

Другие распоряжения майора Микидуцэ в отношении поднятия морального духа войск были в полном согласии с первым пунктом. Среди горя и несчастий тех декабрьских дней его рас-

¹ Микидуцэ — по-румынски «бесенок».

суждения и сентенции на языке специальных терминов звучали скорее трагически, чем комически. Когда наступал вечер, в нашей тесной канцелярии, прокуренной и плохо освещаемой подслеповатой лампой, вся его крошечная фигурка, неожиданные рассуждения, никак не соответствовавшие обстановке, производили на меня странное впечатление какого-то безумия.

Впрочем, я тоже не был и не мог быть уравновешенным среди подобных событий.

Послушайте, что случилось.

В первый день рождества, в самую немилосердную и бурную погоду, мой майор поспешил отправиться в Яссы. У него там жил приятель, который приготовил угощение: голубцы из индюшатины и красное вино из Урикань. Перед отъездом ему вдруг пришло в голову спеть арию из старой оперетки. Вертясь на каблуках, он фальшиво запел вполголоса:

Потому что, потому
Это было из свинца!

Хлопнув дверью, он как бы поставил точку и порвал со всеми делами в Подул-Илоаей и со всякими мирскими заботами. Его пение еще слышалось под окном; я поднял глаза от регистрационной книги, улыбаясь и прислушиваясь. Тут я увидел около двери мальчика. Он появился словно из-под земли. За минуту до этого его не было.

— В чем дело, паренек?

— Здравия желаю, господин офицер,— пропищал он.

— Что с тобой? Как ты сюда попал?

— Я вошел, когда вышел старый генерал, который пел.

— Понятно. Что тебе надо?

Он почесал в голове с длинными перепутанными прядями волос, положил на диван смятую шляпчонку и начал шарить за пазухой, под лохмотьями не по его росту.

— Что ты ищешь?

— Ищу билет,— ответил он мне, шмыгая носом.

Я ждал, когда он найдет билет, молча глядя на него. Под длинным до пят рединготом у него была белая крестьянская одежда. На ногах широкие солдатские ботинки и зеленые обмотки. Это был хилый, бледный ребенок лет двенадцати-тринадцати. Его чуть вздернутый нос был красным от холода. Необычайное выражение было в его больших черных глазах, оттененных длинными ресницами. Он доверчиво посмотрел на меня своими огромными глазами, приблизился и протянул мне бумагу, потом отошел назад и, вытерев нос рукавом редингота, стал ждать.

Я развернул бумагу и прочел: «Некулай Корбан, солдат при-

зывает 910 года, 15-й Разбоенский полк, пересыльный пункт Бакэу».

Я поднял голову.

— Кто этот солдат?

— Этот солдат — мой тятка, — ответил мальчик.

— А что ты хочешь от меня? В бумаге ведь говорится про Бакэу.

— Оно так, господин офицер, в билете-то говорится про Бакэу, — ответил мне ребенок и сразу смешался, — только ведь, скажу я вам, был я в Бакэу и не нашел. Перво-наперво надобно сказать вам, господин офицер, что мамка померла в четвертый день декабря, а на Миколая-угодника я ее схоронил. Как увидел я, что остались мы четверо без всякой помощи, пошел я от Бистрицкого монастыря, возле которого мы живем, прямо в город Пятра, в казарму к господину полковнику... Я уже позабыл, как его звать. Он добрый человек, все выспрашивал про меньших братьев; я сказал ему, что оставил их с теткой. Он подарил мне эти ботинки, а про отца так ничего и не сказал. Советовал он мне лучше домой вернуться, не ходить по дорогам, а то какая-нибудь собака заест. А я ему сказал: «Никак это невозможно. Должен я дойти до отца; и хоть дней на десять пришел бы он от службы в село — посмотреть, что нам делать: ведь и тетка тоже болеет, а как помрет, останемся мы одни на белом свете». Какой-то старый солдат присоветовал мне поехать с ним до Бырлада. Там-то, в Бырладе, мне и дали господи офицеры этот билет. Опять поездом вернулся в Бакэу, как тут написано; да и там отца не нашел. Разузнал я, что был он в Бакэу, а оттуда послали его сюда, в Подул-Илоаей.

— Сюда, в Подул-Илоаей? Солдат Некулай Корбан из пятнадцатого Разбоенского полка? Что-то мне не помнится, чтоб был у нас такой солдат.

— Должен быть, господин офицер, — настаивал мальчик.

— Не думаю, а то я бы помнил.

Настроение у меня было прескверное в этот праздничный день: мое начальство поехало на вечеринку с голубцами и уриканским вином, оставив меня один на один с несчастьями и страданиями беженцев. Но ребенок все смотрел на меня своими прекрасными большими глазами и стоял передо мной так твердо и смело, что я сделал над собой усилие и как-то весь собрался. Кажется, я где-то слышал фамилию, которую он произнес. Возможно, она числится в одном из реестров.

— Как зовут твоего отца?

— Солдат Некулай Корбан.

— Солдат Некулай Корбан должен быть среди тех, кого мы

сегодня отправили в Яссы. Гаврил Оанча! Открой дверь и крикни Гаврила Оанчу!

Ребенок открыл дверь и тоненьким голоском позвал денщика, потом снова с надеждой уставился на меня.

— А как тебя зовут?

— Меня зовут Никулэеш, как и тятюку.

Гаврил Оанчу вошел и посмотрел сверху в сторону, на ребенка.

— Послушай, дед,— сказал я, улыбаясь,— есть среди наших людей Некулай Корбан?

— Из какого полка, господин младший лейтенант?

— Из пятнадцатого.

— Некулай Корбан из пятнадцатого? Не думаю, чтобы был. Мы людей из пятнадцатого здесь не держим, а отсылаем их в Яссы.

— Ну, вот и я так же говорил. Я верю своей памяти. Несомненно, что мы послали его в Яссы вчера или сегодня утром.

— Скорей всего сегодня утром, господин младший лейтенант.

— Теперь все ясно,— повернулся я к мальчонке.— Его здесь нет, но ты уже недалеко от цели — разыщешь его в Яссах. Там найдешь на вокзале младшего лейтенанта Саву и спросишь, где размещаются люди, которые к ним прибывают из Подул-Илоаей.

— Значит, его там можно найти?

— Там ты его обязательно найдешь,— ответил я, улыбаясь.

«Он прицепится к поезду,— думал я весело,— и будет в Яссах вместе с моим майором».

Ребенок ушел. Через час я откинулся на спинку стула и неожиданно вспомнил об этом посещении. Смелый, мужественный мальчик, пристальные огромные глаза. Может быть, следовало бы согреть его чаем или добрым словом? Это сострадание, я понимал, пришло скорее всего потому, что передо мной был совершенно исключительный мальчик. То, что делал этот Никулэеш, было самым настоящим героизмом. А я пропустил его мимо, как любого повседневного посетителя.

Мой денщик неслышно вошел в комнату.

— Чего тебе, дед?

— Господин младший лейтенант,— ответил он мне.— Он не солдат.

— Кто?

— Некулай Корбан.

— А, это тот, кого ищет мальчик?

— Так точно, господин младший лейтенант, не солдат. Так что он капрал. Некулай Корбан. И сейчас, вот в эту минуту, он

отправляется вместе с другими в Пашкань. А оттуда на Кашин и на фронт.

— Кто?

— Капрал Некулай Корбан.

— Куда, говоришь, отправляется?

— Отправляется в Пашкань, господин младший лейтенант.

— Кажется, ты говорил, что мы послали его в Яссы?

— Нет, господин младший лейтенант, это была ошибка, потому что он капрал, а не солдат. Так что он не поехал в Яссы, а поехал в Пашкань.

Я молчал, немного смущенный.

— Хорошо,— сказал я денщику,— можешь идти.

Я надел полушубок и шапку и вышел. Сделав десять шагов по пустынной улице, я заметил, что началась метель, ледяная буря. Тьма, окружавшая меня, была такая непроглядная и угрюмая, что я почувствовал внезапно какой-то таинственный и непонятный толчок в груди.

Я поспешил войти в пустой вокзал. Из снегового вихря я попал прямо в теплую комнатку дежурного офицера, который лежал на нарах лицом к стене. Я повернул его к себе и торопливо расспросил, ушел ли поезд в Яссы с майором Микидущэ. Ушел, уже давно. Я узнал, что и поезд на Пашкань тоже давно ушел.

— Неужто и ты хочешь отправиться в Яссы? — спросил дежурный, позевывая и улыбаясь. — Еще будет санитарный поезд, в полночь.

— Мне нельзя ехать в Яссы,— ответил я.— Я хотел тебя спросить, не видел ли ты моего подопечного, мужичка, завернутого в огромный редингот, в солдатских ботинках?

— Как же, как же, видел! Я объяснил ему, куда надо ехать. Еще полковриги хлеба дал.

— Ты видел, какие у него глаза?

— Видел, глаза как глаза. Не понимаю, что ты так устал на меня.

Вероятно, я смотрел на своего товарища весьма странно. Но я не задумался над этим, я внимательно прислушивался к тому, что происходило во мне.

Одно мне было совершенно ясно: мальчик с внимательными глазами разминулсЯ со своим отцом. Долгие трудные недели искал он его, прилагая героические усилия, на которые способен далеко не всякий человек. И когда он пришел ко мне, он действительно нашел бы отца,— стоило мне только посмотреть в регистрационную книгу, стоило мне только не понадеяться на свою память. Из-за меня отец и сын разминулись. Я понял большее: они разминулись, может быть, навеки. Не потому,

что отец отправился на фронт, где в то время было относительно затишье, а потому, что простуженный и слабый ребенок пропадет, как в водовороте, среди бурь начавшейся зимы.

Вьюга и ночь. Я чувствовал, что вьюга нападала на меня, словно смертельный враг. Ее вихри пронизывали полушубок и замораживали кожу на моем теле. Вокруг была такая тьма, что я не мог вздохнуть полной грудью. Я вошел в свою канцелярию и спросил у денщика чаю.

Он принес чай. Чтобы не чувствовать запаха котла, я влил туда рому, но пить не стал, а оставил чай остынуть в жестяной кружке.

Я поднялся со стула, снова оделся и опять вышел во тьму, навстречу вьюге. Меня притягивала темнота — как тревога, как вопрос, на который я не мог ответить. Внимательно прислушиваясь к тому, что происходило во мне, я снова вошел в вокзал, словно пьяный, и стал ждать какого-нибудь поезда после полуночи. Я сидел неподвижно в комнатшке моего товарища. Я не спал и ни о чем не думал. Через некоторое время я поймал себя на том, что считаю всхрапы младшего лейтенанта.

Я очнулся в поезде, в темном углу вагона. На вокзале в Яссах я сошел, не замечая никого, не разговаривая ни с кем.

На перроне, увидев первого часового, я пришел в себя и понял, что мой путь имеет определенную цель. С волнением и страстью я начал торопливые поиски. Путь от часового к военному начальнику вокзала, от военного начальника к сержанту — представителю комендатуры — я, можно сказать, преодолел одним прыжком.

Но младшего лейтенанта Саву я так и не нашел.

Сперва никто не мог припомнить крестьянского мальчика в рединготе. На перроне, куда прибывали поезда, всегда был страшный людской водоворот. Ну кто мог обратить внимание на какого-то мальчика!

— Говоришь, он был крестьянин? Тогда почему же он в рединготе? — спрашивал начальник вокзала.

— Полунищий ребенок... — отвечал я, чувствуя, что щеки мои горят от стыда.

— Полунищий?.. А что случилось? Почему вы его ищете?

— Так. Интересно знать, что с ним, — с трудом ответил я.

Я уже был готов дать некоторые пояснения о похождениях мальчика, которые считал героическими, но меня остановило какое-то омуцение, которое все росло во мне, по мере того как минута за минутой проходила ночь.

Наконец сержант из комендатуры вспомнил, что он как будто видел неясную тень того, кого я искал. Он прошел в город в суматохе вместе с толпой людей.

Значит, он в Яссах, это несомненно. Я пустился в путь по завьюженным улицам. Я останавливался у полицейских будок, обошел несколько сырых и шумных трактиров. По мере того как я продвигался вперед, улицы расходились в разные стороны, и я чувствовал, как меня охватывала непонятная усталость. Это была не физическая усталость, а нечто вроде тяжелого тумана, который обволакивал меня. Я прошел мимо комендатуры, потом мимо часовых военных частей, все выше на холм, пока не очутился среди фантастического шума лип в Копу. Там, среди полной темноты, я вдруг остановился. Прислушался.

Остановившись, я почувствовал в левой стороне груди двойной удар. Отчетливый удар как будто другого тела, находившегося у меня внутри. Потом я понял, что удар этот — необычайное сердцебиение. У меня было такое чувство, словно я по глупости попал в страшную опасность.

Как вы видите, все это сплошная литературщина, как я заметил еще в самом начале. Не скажешь ведь, правда, что я в этом деле особенно виноват. Никто не мог бы мне доказать, что ребенок погиб в эту вьюжную ночь. Ничто не могло бы меня заставить поверить, что он погиб позднее. Но все же я должен признаться, что ни в ту ночь, ни на другое утро я не нашел никаких его следов.

В связи с этим неприятным происшествием я должен рассказать и еще кое-что.

Как-то — то ли на вторую, то ли на третью ночь после этого, я уже хорошо не помню, — мне приснился страшный сон.

Зима и огромное ледяное поле. Среди неясных детских фигур, которые появлялись передо мною на льду, одна показалась мне знакомой — не знаю почему, но знакомой. Потом она провалилась в трещину на льду. Сначала исчезла голова, потом туловище, мелькнули и исчезли ноги. А я смотрел на эту фигуру, скорей на ее тень, похожую на паука, которая подо льдом делала редкие, но бесконечные волнообразные движения.

Задышавшись, я проснулся в холодном поту; одеяло с меня сползло. В левой стороне над сердцем я ощутил странный толчок. Передо мной снова возник пристальный взгляд ребенка и мой поступок. Сердце стучало так, будто предвещало недоброе.

Этот сон, без всяких изменений, снился мне много раз. И иногда, когда я ничего не ожидал, сердце вдруг начинало стучать: мне казалось, что в меня проникает нечто враждебно-чужое, казалось, будто я глупо попал в опасность.

Человек, рассказавший нам эту историю в рождественский вечер, был толстый флегматичный мужчина, который, каза-

лось, смотрел на жизнь доброжелательно и самодовольно. Мы звали его «лекаришкой».

Резко оборвав рассказ, он налил себе стакан вина.

Хозяин, недавно разбогатевший человек, счел, что нужно рассмеяться.

— Брось ты это к черту, доктор! Я-то думал, что ты расскажешь что-нибудь веселенькое. Пей вино!

Доктор молча, пристально посмотрел на него и отставил стакан в сторону.

СУД ОБЕЗДОЛЕННЫХ

Большой, неуклюжий человек поднялся с кожуха, брошенного возле тележного дышла, и вразвалку подошел к костру.

Уже по одному тому, как он медленно передвигал ноги, словно сгребая ими траву, в нем сразу можно было узнать чабана. Об этом свидетельствовали и его сермяга, и шапка из цельной овечьей шкуры, и широкий блестящий пояс, и в особенности рубаха, задубевшая от стирки в молочной сыворотке. В руках у него был длинный посох, который он держал за самый конец. Маленькие глазки едва виднелись из-под нависшего лба и густых бровей. Курчавые длинные волосы были смазаны маслом, а подбородок выскоблен обломком косы.

— Вот я все слушаю, что тут рассказывают,— начал он густым басом.— Занятные истории. Теперь одного мне хочется: узнать историю вон того высокого, сухопарого путника.

После таких слов, обращенных к конюшему, всем стало ясно, что человек этот явился из дальних дебрей.

До этой минуты мы его даже не замечали, а он-то все время сидел рядом с нами и молчал. Молча прихлебывал вино, и вот теперь у него развязался язык и ему захотелось повеселиться. Левой рукой он швырнул кружку прямо через пламя костра. Посудина огласила ночь коротким воплем и разбилась на груды черепков, замолкнув навсегда.

— Теперь уж эта кружка не отведаст больше вина! — ухмыляясь, снова заговорил чабан.— И мы с ней встретимся не раньше, чем я сам рассыплюсь прахом. Ну, тем, кто меня не знает, скажу: живу я далеко, на Рарэу¹, и есть там у нас с товарищами овчарня и землянки, полные кадок с творогом и кислым молоком, да другие землянки, с попонами и кожухами. А зовут меня Константин Моцок. Хотите знать больше, так скажу вам, что иду я в село на берегу Сирета. Дознаться хочу, осталась ли

¹ Гора в Румынии.

еще у меня на свете кровная родня — сестра, которую я не видел с молодых лет. Коли она умерла, вернусь обратно, к овцам и то-варищам, к своей печали, туда, на самую макушку горы, где ветер, словно дума человеческая, никогда не знает покоя.

А смеюсь я потому, что вспомнил одного своего приятеля. Так вот, наказывал он мне: «Попадешь на постоялый двор Ан-куцы, выпей кружку вина, выпей другую — и так до тех пор, пока в глазах не помутится; и никому не сказывай, что со мной некогда случилось в этих местах». А потом поведал, какого лиха он тут натерпелся.. Да ведь я столько выпил, да еще из такой посуды, что уж теперь и не вспомню толком, что за случай с ним приключился.

— Какой случай? — спросил по своему обыкновению коню-ший Ионицэ.

— Да уж такой случай вышел, мил человек, такое происше-ствие с человеком, который для меня все равно, что брат. Эй, музыканты, подыграйте-ка мне на струнах удалую песню раз-бойника Василе, прозванного Большим. А потом, коли люди то-го захотят, расскажу им, как было, а не захотят — помолчу.

И неожиданно он запел, как-то в нос, тонким голосом — со-всем не под стать его огромному телу.

— Эй, слушайте!

Тот, кто молод и удал,
Выйдет с тем, что бог послал,
На тропинку между скал.
Не с арканом, не с ружьем,
Выйдет просто с кулаком...

Я слушал, как тоненько выводит он слова, и меня разбирал смех. Мне было весело: я не против того, когда человек под хмельком. Чабан замолк и усмехнулся, скорее злобно, чем доб-родушно.

— А теперь пусть эти вороны замолчат,— сказал он громким басом,— и спрячут свои скрипки под крылья. Хочу поведать вам, ежели желаете, историю, о которой только что поминал. И я не я буду, если она не придется вам по душе.

Он взгляделся во тьму постоялого двора, поправил под мыш-кой посох, на который опирался по пастушьей привычке, потом повернулся к нам, насупился и обвел всех невидящим взглядом. Казалось, весь он ушел в далекое прошлое.

Из нас один только конюший Ионицэ смотрел на него нетер-пеливо, свысока: простолюдин опередил его и помешал расска-зывать занятнейшую вещь.

Но чабан и в ус себе не дул, да и где уж ему знать подобные тонкости обращения!

— Что же это я хотел сказать? — спросил он нас, улыбаясь как бы издалека, из своего одиночества. — По правде говоря, чем рассказывать, лучше бы я на дудке сыграл — только не умею. Значит, приходится говорить, уж как выйдет. Жил этот мой приятель в селе Фьербинце на Сирете, а владел селом в те времена боярин, известный богачей, по имени Рэдукан Кривой. Боярин был человек пожилой и вдовец. Нет-нет да и приглянется ему какая-нибудь крестьянская женка, и мы, бывало, сами над этим лишь посмеивались да пошучивали. А вот как стряслась такая штука с самим приятелем этим, тут уж стало ему не до смеха. Дошло до него через каких-то кумушек, что его Илинку тоже позвал боярин к себе домой.

— Да может ли этакое статься? — вскипел мой приятель.

— А вот и может! И вернулась она домой с новым платком, красным, как огонь.

Тогда этот мой приятель оцетинился, словно бешеная собака. Оставил он свои сани с мешками на дороге возле корчмы, швырнул на рога волам кнут и схватил топор. Глаза ему будто кровавый туман застлал. Бросился он домой, вышиб плечом дверь, схватил жену за горло и закричал на нее:

— Где была? Говори сейчас же, где была, а то топором искрошу!

— Нигде я не была, человече! Что с тобой стряслось? Спятил ты, что ли?

— Сказывай, куда ходила, не то зарублю! Где красный платок?

— Какой еще платок? Видать, ты выпил да заснул в санях, вот тебе и привиделось!

Он на нее кричит, а она отпирается, рвется от него, руками отмахивается и клянется без умолку. Схватил ее муж за косы и ну колошматить головой об угол печи. Да так ничего от нее и не добился.

— Режь меня, убивай, ни в чем я не виновата!

А приятель мой уж и бить ее устал. Опустились руки. Поглядел он, как жена плачет, и стало ему тяжело.

— Ох, Илинка, — говорит он, — горемычная жизнь у нас с тобой! Ведь мы только четыре года, как поженились. Помнишь, деревья тогда цвели возле нашего дома, а нынче цветы их осыпались и сердце мое льдом покрылось. А уж как я тебя любил и верил тебе, да вижу, что горько обманулся...

Тогда жена поклялась светом очей своих и могилой матери, что ума не приложит, о чем речь идет. Вытерла свой рот, разбитый в кровь, поцеловала мужа, успокоила его и послала за санями с волами. А только он ушел, накинула она на голову

красный платок, вышла садом в проулок — и прямехонько на боярский двор.

Подъехал парень на санях к амбару, снес туда мешки, а потом пошел на боярский двор, чтобы приказчик записал все в свою книгу. Да вместо приказчика на крыльцо вышел сам боярин. Поманил этак моего приятеля пальцем, а сам посмеивается и цедит сквозь зубы:

— А ну, подойди-ка сюда, хозяин.

— Иду! Чего изволишь, боярин?

— Ах ты нехристь! — говорит помещик. — Что у тебя с женой? За что ты ее бьешь и истязает?

А приятель мой и в толк не возьмет, куда тот клонит.

— Ничего такого не было, боярин. Только не пойму я, откуда твоя милость про это знает и зачем мешается промеж мужа и жены?

Не успел он договорить, как Кривой Рэдукан раз ему кулаком в зубы!

Приятель мой только зажмурился. Сначала, видишь ли, ему невдомек было, а когда открыл глаза и увидел в окне Илинку в красном платке, все понял. Заревел он зверем, и таково ему стало, что хоть в колодец головой. Только не тут-то было! Схватил боярин арапник, что висел за дверью в сенях, и огрел беднягу по шее да еще концом резанул по глазам, будто огнем ожег. Мечется приятель мой то вправо, то влево, захлебывается кровью, наконец кое-как вывернулся и скатился с лестницы, бежать хочет, да внизу его боярские холопы поджидают.

Отбился он от них кулаками и с воем кинулся на хозяина. А Рэдукан Кривой снова как обожжет его хлыстом да еще подмаргивает здоровым глазом.

— Не пускайте его, ребята, — говорит, — видите, бешеный! Чуть жену свою не сгубил.

Слуги набросились на него и схватили. Колотили они его, пока сами из сил не выбились, а потом отпустили.

После того он три дня провалялся больной, всю скамью от злости изгрыз, а потом поднялся и перелез ночью через забор во двор к боярину, чтобы жену разыскать. Долго подстерегал он ее возле людской и все же дождался. Зарычал он от ярости и кинулся на нее, готовый разодрать ей глотку ногтями. Услышал боярин из дома крик и вышел с кинжалом.

Рассвирепел Рэдукан Кривой, увидев такую дерзость, — ведь он-то хозяин! — и приказал слугам схватить моего приятеля и воздать ему за все, как положено. Перво-наперво связали они ему руки за спиной и рот заткнули, чтобы не кричал. Да на всю ночь и привязали за шею к плетню, втиснув голову между

кольями. Его рвали собаки, а под утро больно искушал крещенский мороз. Даже не понять, как это он не помер.

Когда рассвело, боярин Радукан увидел, что парень все еще смотрит на него волком, приказал снять его с плетня и гнать арапником до самой мельницы. Там слуги разули его и, завернув ему до колен порты, сунули ногами в воду: пускай, мол, почувствует ее ледяные зубы, чтобы впредь не смел он бунтовать и грозить честному боярину.

Натерпелся вдоволь мой приятель — все муки принял, как тогда при боярских дворах заведено было. Бросили его в землянку поближе к огню — пусть поджарится. А чтобы не сбежал, забили ему ноги в колодки с пудовым замком. Дым из землянки не выпускали да еще на уголья насыпали молотого перцу. Лежал он там, кашлял, кровью харкал, только господа богу угодно было, чтобы он не погиб, а уже на этом свете намаялся, словно в геенне огненной.

Дело это, добрые люди, случилось лет тридцать тому назад. Но приятель мой не покорился, хогь, оно, может, так к лучшему было бы. Долго оставался он калекой, и злость кипела в его сердце, а когда он сил набрался, то бежал из села. Перешел он реку Молдову, перешел Бистрицу и поднялся на высокие горы под Рарэу.

Там, в горах, под елями, сидел он, глядел перед собой, как безумный, и снова видел то, что с ним случилось. Видел он все в пламени и крови, а сердце его рвали стальные когти. Покинули его силы, стонал он только да корчился. Много лет пробыл он в работниках у чабанов, пока не пообвыкся в тех пустынных местах и не обзавелся овцами и баранами.

И вот однажды весенним вечером услышал мой приятель голос Василе Большого, как тот распевал у лесной опушки песню, которую нынче спел вам я.

Когда Василе подошел к хижине, приятель мой сразу догадался, что человек этот ушел от людей и скрывается в глуши.

Стоял перед ним Василе, статный и гордый, брови насупил, и встретил его мой приятель ласково, потому что песня пришла ему по душе. А когда узнал, что это Василе, еще пуще обрадовался, потому что по всему краю знали его имя и все трепетало перед ним там, в долинах. В те времена Василе Большой грабил на дорогах и переправах и собирал большую пошлину.

— Пожалуй, брат Василе, к моему костру, — сказал мой приятель. — Наслышан я о тебе и приму с радостью. Угощу, чем бог послал, и твоёму гнедому подброшу доброго сенца. Найдется и попона — сделать тебе мягкую постель на ночь.

Обрадовался гайдук и остался в хижине. И вскоре они стали добрыми друзьями.

Все рассказал про себя Василе, а приятель мой поведал ему, что вышло у него с женой и боярином.

Услыхав его рассказ, Василе разгневался: сорвал шапку с головы и ударил ею оземь.

— Ну,— сказал он,— после этой твоей истории не зовись ты больше моим другом. Должно быть, вскормлен ты зайчихой и трусом сделался на всю жизнь!

— А что мне было делать, брат Василе? — спросил бедняга.

— Я тебя научу, приятель.

Так сказал Василе и тут же, у костра, за чаркой черничной водки подал ему добрый совет.

— Вот что, парень,— сказал гайдук,— знай, что верности от женщин не дождешься. С тех пор как я стал гайдуком, я узнал им цену. Из-за такой, как твоя, ранили меня однажды стражники в левую ногу, и, как видишь, с тех пор я на нее припадаю. Что ж, господь создал женщину изменчивой, как волна, и слабой, как цветок, а потому хоть я браню ее, но прощаю. Но тому, кто измывался надо мной, я воздаю сторицей. Сделай и ты так, а не то задушит тебя ядовитая злоба.

— Правда твоя, душит меня злоба! — вскричал мой приятель.— Слугой тебе буду, брат Василе. Только научи, как быть, чтобы кручину размыкать!..

* * *

Рассказывая это, чабан совсем разошелся и теперь в отсветах огня то и дело встряхивал головой и размахивал руками. Даже другим голосом заговорил, кричать начал, да так, словно он был один. Однако все слушали его внимательно, даже конюший Ионицэ перестал на него обижаться.

— И вот, как я вам говорил,— вскричал Констандин Моцок,— научил Василе Большой того приятеля!

— Оставь на неделю овец на своих товарищей,— сказал он.— Оставь на чабанов и кадки с творогом и собак. Возьми только лошадь да сунь в переметные сумы два круга сыра, чтоб нам было чего поесть. Поедем с тобой верхами, как два заправских купца, до Бистрицы и еще дальше, до Сирета. Хочу повидать то село, где случилось все, о чем ты рассказываешь.

Говорит это гайдук и смеется, а приятель мой чувствует, как трепещет сердце его великой болью и великой надеждой.

Оставил он на товарищей свое добро, оседлал коня, покинул

луга и ели, прохладные ручьи и поляны и спустился с гайдук-ком к людям на равнину.

Узнать их никто не узнал. Так и ехали они, совсем как два заправских купца, до самого Сирета, до села Фьербинць, закусывая сыром да черствым хлебом и запивая водой из колодцев. В четверг утром, на святой праздник вознесенья, вышли они оба на дорогу, к церкви, как раз когда народ от обедни расходился.

Тут-то среди людей приятель мой и узнал Рэдукана Кривого. У него даже дыхание перехватило, да он сдержался.

— Друг Василе,— говорит он,— вот он, благодетель мой!

— Он? — переспросил гайдук.— Добро! — И, поднявшись на стременах, закричал грозным голосом: — Люди добрые, стойте!

Люди остановились.

— Православные, люди добрые,— еще громче крикнул Василе Большой,— стойте тихо и спокойно, потому что против вас я никакого зла не имею. Я разбойник Василе Большой. Имя мое вы знаете и о делах моих слышали. При нас пистолеты, и мы никого не боимся, да еще и другие мои товарищи стоят недалеко на страже.

Люди зашептались между собой и покорно подались в сторону. А боярин, узнав моего приятеля, выпростал бороду из-под воротника кафтана, и в здоровом его глазу вспыхнул смертельный испуг.

— Приехали мы сюда суд вершить по старому обычаю,— снова заговорил гайдук.— До самого страшного, божьего суда не находим мы правды ни у исправников, ни у Дивана. Так будем сами, своими руками творить суд и расправу. За женщину мы тебя прощаем, светлейший боярин, но мы дрогли на морозе и в ледяной воде, наши ноги были забиты в колодки, глаза наши выедал дым от перца, и кашляли мы так, что душу выворачивало. Ты сек нас арапником, голову в кольях плетня зажимал, вырывал нам ногти. Ты отравил всю нашу жизнь, ибо денно и ночно мы вспоминаем об этом, и нет нам ни утешения, ни избавления! Мы явились, боярин, чтобы за все отплатить тебе сполна!

Рэдукан Кривой, уразумев, в чем дело, выпучил глаз и заорал на своих прислужников и всех, кто тут был. Заметался он во все стороны, убежать хотел, но гайдук и мой приятель зажали его между своими лошадьми, повалили наземь, соскочили с седла и всадили в боярина ножи. Приятель мой стоял над ним до тех пор, пока не запенилась в пыли лужа крови. А когда боярин перестал хрипеть и испустил последний вздох, он пнул его ногой и перевернул лицом вверх, открытым глазом к небу.

И никто из людей не сказал ни слова, все стояли в страхе свидетелями на этом суде.

Вот как оно было. Оставили они возле мертвого на нужды божьего храма свой кошель, а в нем восемь золотых — все, чем богаты были. А затем снова сели на коней и при весеннем солнышке покинули они село и поехали тайными тропами, в горы, к своему зеленому лесу.

Окончил чабан свой рассказ и засопел, изливая во вздохе неизбывное горе. Посмотрел на нас угрюмо, увидел, что мы молчим, и засмеялся суровым смехом. Потом шагнул в сторону, к своему кожуху, и снова, как прежде, погрузился в свою печаль, словно в горный туман, без радости, без света.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЮВ

...Неделю спустя я увидел Никэ Джюдеца. Мой друг профессор привел его под самый вечер. Шумел южный ветер. На окнах сверкали капли дождя.

Они вошли — сперва племянник, затем дядя — в то самое мгновение, когда я встал, чтобы зажечь электричество. В сумрачной тени, прежде чем загорелась лампочка, в мою сторону сверкнули глаза Джюдеца, похожие на два цветка, озаренных внутренним огнем. Усы у него были не столь пышны, как у профессора, но в глазах сияло пламя, озарявшее все его существо. Душа его, сила его отражались в этих глазах. И голос его понравился мне: плотный, придающий словам какую-то особую мягкость и таинственность.

Я задернул занавески, и мы уселись за маленьким столиком. Нам подали кофе и папиросы. Профессор изредка поглядывал в соседнее зеркало, любясь своими усами. Я же следил за Железным Ключом.

— Так вот, товарищ профессор, — начал гость из села Валя Маре, — начну с того, что в день, когда все это со мной приключилось, в Улменах проводили предвыборное собрание. И многие мои односельчане отправились туда. У нас в деревне такое собрание уже было. И порешили мои товарищи-трактористы, что я должен сказать несколько слов о борьбе за мир. Утром отправился я на станцию и перелистал газеты да разные книжечки. Хотя я их читал и раньше, да не хотелось дать маху. Вот и заметил себе кое-что — не на бумаге, конечно, а в голове.

В Улменах, в помещении Временного комитета, народу — хоть пруд пруди. Гляжу — среди наших вэлимэренов сидят

семь-восемь человек из тех, что не больно хаживают на собрания. Одним словом, кулацкие родичи, птицы перелетные...

Как только товарищ Джудец начал свой рассказ, я придвинул к нему папиросы, но он тут же отстранил их, показав рукой, что не курит. Но кофе, однако, отведал. Напиток, видно, нравился ему.

— Призадумался я,— мягко продолжал он.— Чего ради явились они на наше собрание — племянш дьякона Петраке, Иле — сын бывшего примаря Атанасиу, мельник Болдилэ, жирный боров, круглый, будто кто-то его накачал, и другие из той же братии? Только при виде Думитраке Захарии немного отлегло от души. Мы с ним воевали вместе до самой Словакии. С фронта он попал в госпиталь: бедро покорежило ему. Теперь он не прочь бы вступить в коллективное хозяйство, да жена и слышать не хочет: родичи науськивают. Кто знает, решил я, может, одумался...

Выступает один, потом другой. Подходит моя очередь...

Только вы уж скажите мне, товарищ профессор, верно ли я говорил, не согрешил ли против истины и справедливости.

«Люди добрые,— начал я,— совесть вчерашнего мира была что осенняя трясына. Мы кормились от рук своих, а отдыха и радости не знали. Отец мой, и дед, и родичи мои изнывали в нужде. Властители грызли, словно просвиру, тело хлебопашца, запивая его кровью. И не только у нас так было, а везде, где свили свои гнезда стервятники.

Но вот настало время, и рухнули иные правительства. Рабочий люд добился своей правды. Сперва, после Великой революции, взошел свет для бедняков России. В непобедимую крепость выросла власть большевиков, основанная Лениным. К ней тянулись сердцем все горемыки мира. А теперь мы тоже строим такие же порядки. Очищаем сад от сорных трав. Возводим новый дом. И в соседних странах строится новая жизнь. Небось, и сами знаете. Одно нам только нужно: мир и согласие между народами.

Будь везде подобные порядки, легко бы нам прийти к согласию. Кому нужна война? Нам, труженикам, она ни к чему. Война нужна тем, кто мечом добывает богатства. Тем, кто собирает армии, чтобы поработить слабые народы, кто усиливает вооруженные силы, чтобы умножить доходы, добытые силой. Великие державы Франция, Англия, Америка, Германия покорили племена Африки и Азии и выжали из них всю влагу, обращая в золото пот и труд народов. Словно волки, защищающие свою добычу, они не хотят вернуть свободу народам колоний. Такие кровопийцы сосали и нашу кровь. Теперь некоторые народы освободились, а иные еще нет. Эти жадные державы еще

в силе. Они ненавидят свободные народы и грозятся войной, лишь бы сохранить свои прибыли. Так поступает Франция во Вьетнаме, Англия в Индии, американцы на островах Тихого океана».

— Верно я говорил, товарищ профессор?

— Верно, товарищ Никэ Джюдец,— ответил я.

— Говорю дальше,— продолжал Железный Ключ, довольный моим отзывом.— Из-за незаконных прибылей воевали раньше великие державы. А потом и между собой перегрызлись: добычи стало мало, и земля уж не вмещала их. Так началась первая мировая война. А за ней следом вторая. Две мировые войны за тридцать лет! И вышли на добычу гитлеровские волки, пробивая себе путь клыками и заливая землю кровавыми потоками.

Ленин, вождь социалистического государства, указывал, что эти страшные войны — последние судороги капитализма, что мир настанет лишь тогда, когда рабочий люд объединится и установит повсюду социалистические порядки.

Однако многие честные люди на земле — рабочие, ученые, мужчины, женщины — решили, не дожидаясь того светлого дня, созвать собрание народов земли и вынести решение против войны. Нынешние войны не те, что прежде. Научные открытия служат разрушению и смерти в воздухе, на суше и на море, и гибель грозит миллионам, десяткам миллионов людей. Грозит не только воинам, но и мирному народу — детишкам и женщинам. Сгорят города и села, урожаи и заводы. Война несет гибель всей земле.

Собрались,— говорю,— сторонники мира на первый конгресс в Париже весной 1949 года. И выяснилось, что посланы они из семидесяти с лишним стран людьми разных племен и вероисповеданий и представляют волю сотен миллионов людей.

Посоветовались. И ученые ратовали против войны. Силы науки, открытые ими для облегчения и улучшения жизни людей, не должны больше служить смерти. Самолеты, электричество, сила атома открыты не для того, чтобы убивать наших жен и детей. Нет такого открытия в науке, которое предназначалось бы для гибели тружеников полей и фабрик. Наука должна служить жизни, а не смерти. Такому быть решению.

...А на втором конгрессе в Варшаве в ноябре этого года сторонники мира осудили американских генералов, ведущих войну в Корее. Свыше двух тысяч делегатов ласково окружили невысокую женщину, прилетевшую с другого, восточного края земли, чтобы поведать о бесчинствах американских войск. Америка — большая, богатая и спесивая держава, а Корейская На-

родная Республика — маленькая страна. Но ее народ беззаветно сражается за свободу, и бьют корейские воины в хвост и в гриву хваленых американских вояк. Те так улепетывают, что не успевают прихватить с собой сапоги и снаряжение.

Я с похвалой отзывался о корейцах, братьях наших, отдающих жизнь за свободу. Хорошо бы, добавил я, чтобы труженики нашей республики собирали для них продукты и зимнюю одежду. Там, в Корее, такие морозы, что молоко замерзает в кружках и яйца лопаются в орлиных гнездах.

Хлеборобы обещали поделиться чем богаты. Порадовался я такому успеху. Только вдруг слышу, кто-то кричит, а на виду не показывается:

«А мы с мериканами не воюем, и корейцы нам не родня!»

Я спрашиваю громко:

«Может, кто-нибудь не согласен?»

«Согласны,— кричат бедняки.— Поможем словом и делом!»

«А не поможем,— говорю,— не сговоримся со всеми сторонниками мира,— так волки войны по очереди и разорвут нас. А объединимся,— так мы сами с них шкуры сдерем и повесим сушиться на перекладинах».

— Дельно сказано,— рассмеялся мой друг профессор.

— И мне это по душе,— улыбнулся я.— А теперь скажи, товарищ Джудец: заметил ли ты, кто каркал на собрании?

— Не приметил, товарищ профессор,— печально ответил Железный Ключ.— И людей я не расспросил и со своими товарищами-трактористами не посоветовался. Сплоховал я, потому и тяжело мне. Ведь вот оно как вышло!

Выступили после меня и другие, поговорили мы насчет выборов и порешили, что народные советы — самая для нас подходящая власть, раз отдает в руки народа общественные дела. И еще с час пробыли мы в Улменах. А когда мы двинулись с товарищами к Дялю-Бэрбат, солнце уже заходило и небо заволакивали грозовые тучи. Задул ветер. Поля и овраги покрылись тонким слоем снега. У МТС попрощался я с ребятами и отправился в Валя. Маре прямоком по знакомому склону, чтобы не делать крюка. И название-то у этого места подходящее: Волчья вершина! Идешь сперва по руслу высохшей речки, потом сквозь заросли каких-то красных кустов. Поднимаешься по крутому склону, и сверху, на расстоянии не более двух километров, открывается вид на долину, на огни деревни.

Пока я шел по руслу Чомыртии, показалась из-за облаков луна. То скроется за облаками, то снова появится. Иду я, значит, спешу. Палкой снег разрисовываю. Палка кизиловая, удобная. При надобности могла добрым оружием стать, В долине

ветер нет-нет да и приутихнет, а на вершине кружит, звенит, словно струна натянутая.

И вот томит меня какое-то смутное беспокойство. Крикнуть бы, чтобы услышать голос друга!.. Стал я насвистывать случайно вспомнившийся обрывок дойны. Потом замолчал. И вдруг в ту самую минуту, когда ветер стих в долине, померещилось мне, что не один я, что где-то недалеко шагает еще кто-то. Я — быстрее. Потом опять останавливаюсь. Верно, по руслу Чомыртии кто-то вышагивает. Явственно слышу, как он спешит за мной следом: «Пш... пш... пш...» Только я остановился, шаги замерли.

Тут я пошел еще быстрее; внимательно вглядываюсь вдаль, по направлению к Волчьей вершине. Заросли кустов уже совсем рядом. Перескочил я через неглубокий овраг, спрятался за крайним кустом у самого откоса, снял тулупчик и кинул его на куст дикой розы.

Луна зашла за облака, да только ненадолго. Я отошел и застыл в тени. Все это я проделал мгновенно, чувствуя, что беда рядом.

Так вот к чему каркал недруг на собрании! Вороги сидели меж нами! Иных я даже знал и все же не поостерегся. Мы человечны, а они нас не прощают. Сколько раз нас корили партийные наставники за подобные ошибки! Волки идут по моему следу, а в руках у меня только кизиловая палка. Хорошо хоть, что я сзади прикрыт. Теперь-то управляюсь и не с одним!

«Какая глупость,— думал я,— оставлять волков в стаде. Прогнали мы помещика, прогнали и его прихлебателей. А дошло дело до людей, с которыми выросли, породнились и кумовьями стали,— размякли. А вот они, кулаки, никогда не помилуют бедняка. И в час страшного суда не изменят они своих повадок».

Стою и гадаю, напрягая слух и зрение. Болдилэ? Не ходок он по таким местам. Это скорее Алеку, племяш дьякона Петраке, а то сын примаря. Не раз схватывались мы с ними на собраниях.

Слышу, идет один. Так и есть: этот поднимается из долины, другой, верно, ждет наверху.

Луна вышла из-за тучи, и я сразу узнал того, что шел за мной по руслу Чомыртии. Тень только увидал и сразу узнал. По походке. Тень припадала на правую ногу. Да это же Думитраке Захария, с которым мы вместе воевали в Словакии! Вот уж никогда бы не поверил! Стало быть, напрасно мы живем и страдаем: столько тысяч лет едят волки овец, а они все не научатся защищаться...

Захария неожиданно выпрямился и метнул молнию. Это нож у него такой, с длинным лезвием и деревянной ручкой, которым он колет свиней. Другого такого мастера не сыскать... Угодил он в тулупчик и сбросил его.

В то же мгновение я кинулся на него. Он, конечно, не устоял на ногах. Ударом в бок я свалил его. Потом подмял под себя и цепко схватил левой рукой за глотку, чтобы не шумел. Правой подтянул к себе нож — он валялся рядом с тулупчиком. Давлю ему грудь коленом, покуда не забилис он.

— Ну,— говорю,— браток Захария, настал твой последний час. Он захрипел, и в глазах его — смертная тоска. Поднял я нож.

— Где другой? Где твой сообщник?

— Один я, брат Джюдец, понадеялся, что сам справлюсь. Прости меня. Дети сиротами останутся...

Вижу: слезы у него в глазах. Говорю ему:

— Сукин ты сын! А у меня детей нет? Поклонись лесу, тучам и луне. Больше ты их не увидишь!

Я поднял нож, и он прислонился виском к мягкому снегу. Больше ничего не говорит уже, только снова дернулся весь.

— Смилуйся, брат...

Тогда я опомнился. Какой я ему судья и палач! Не один я в этой схватке. Это судья должен выявить тех, кто подговорил Думитру Захарию, кто толкнул его на это страшное дело. Пока мы их не узнаем, толку не будет. Мертвый нем, а мне придется держать ответ за погубленную человеческую жизнь.

Я оттолкнул его в сторону и встал. Гляжу на склон, освещенный луной: пустынная-пустынная вершина!.. Вслушиваюсь — только ветер шумит. Одни мы с моим пленником, а рядом — истерзанный тулупчик. Потянул я тулупчик за рукав, поднял его с земли. Думитру Захария очнулся и, как увидел тулупчик в моих руках, так и вскинулся, словно дикого зверя увидел. Потом он закрыл глаза, решив, должно быть, про себя, что попал на тот свет.

Приказываю ему:

— Встань!

Он присел, очумело оглядывается.

— Кто тебя подговорил?

— Все скажу, брат. Только прости меня. Скажу... Прости меня, а потом можешь убить меня. Я уже недостоин жизни. Детей моих пожалей, брат.

Я повторил:

— Говори.

— Мы это задумали с сыном дьякона Петраке и Иле Ата-насиу. Задолжал я большие деньги трактирщику Алексе. Тогда они принесли мне из города шесть тысяч лей и сказали, что процентов не надо будет платить.

— От кого деньги?

— Не знаю.

— Ничего, на суде узнают...

Он отпрянул, словно спасаясь от опасности. И глухо простонал:

— Уж лучше не веди меня отсюда, брат. До суда дело не дойдет. Утопят они меня в сиретском омуте, дом подожгут, жену с детьми прикончат, а сами скроются в дикую чащу.

— Это они сами посулили тебе?

— Сами, браток. И проклятием меня связали...

Тут он неожиданно вскочил, припадая на раненую ногу. Но едва он шагнул левой ногой, я тут же ударил его по правой, повалил на землю. Он рухнул лицом вниз и еще три раза ударился лбом о камень. Поднял окровавленную голову и бормочет что-то невнятное свисающим языком. Я нахлобучил ему на голову шапку. Нащупав у него за поясом оружие, я, как сторонник мира, тут же приступил к сокращению вооружений и заботливо спрятал автоматический пистолет в голенище своего правого сапога, рядом с длинным ножом.

— Не понадеялся я на пистолет,— прошамкал, вздыхая, Захария.— Они мне его силой запихнули за пояс.

— Ладно уж! Пошли!

Он послушно последовал за мной. Мы не стали взбираться на гору. Я повернул к знакомой дорожке, по дну долины, чтобы не встретить в пути нового развлечения.

Некоторое время спустя он протянул мне руки, чтобы я их связал. И шепнул:

— У меня в кармане ремешок

Сам же и достал его. Я исполнил его просьбу и связал ему руки.

Потом он захныкал:

— Только пусть милиция схватит их в эту же ночь...

— Ладно, не твоя забота.

Еще позднее он заскулил:

— А там пусть судьи не сажают меня рядом с ними...

— Я вижу, у тебя претензии появились, Захария,— засмеялся я, но тут же прикусил язык.

И после долгого молчания он вздохнул, словно отвечая шороху ветра:

— Костэкелу четыре года, а Гарофице — шесть. И названа она именем матери...

Таинственный голос Джюдсеца смолк. Голубые глаза жарко взглянули на меня. Схватив чашечку кофе, он одним глотком опорожнил ее.

— Чем же кончилось дело? — спросил я профессора Йову Илени.

— Мы сейчас из суда. Только успели завернуть ко мне домой, — ответил он. — Среди виновников оказалась и жена — советчица. И этот Никэ Джюдец безжалостно заклевал их всех. А потом постучал клювом в мое сердце. Потому-то мы и опоздали: определили детей Захарии в детдом.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В Молдовской стороне. <i>Перевод А. Старостина</i>	3
В Петришоровой пуще. <i>Перевод М. Фридмана</i>	8
Конвой. <i>Перевод М. Фридмана</i>	14
Горемыка. <i>Перевод М. Фридмана</i>	21
Глаза. <i>Перевод Ю. Кожевникова</i>	24
Суд обездоленных. <i>Перевод Ю. Кожевникова</i>	32
Железный Ключ. <i>Авторизованный сокращенный перевод М. Фридмана</i>	39

Михаил Садовяну
В МОЛДОВСКОЙ СТОРОНЕ

Редактор — П. КРАВЧЕНКО.

А 05246. Подписано к печати 3/VII 1961 г. Тираж 150 000. Изд. № 1397.

Зак. № 1407 Формат бум. 70×108¹/₃₂. 0,75 бум. л.—2,05 печ л Цена 6 коп.

**Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.**

Цена 6 коп.

ГРАЖДАНЕ!

НАХОДЯСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТО-
РОЖНЫ.

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ПУТИ НЕ В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЕРЕХОДНЫМИ МОСТАМИ,
ТОННЕЛЯМИ И ПЕШЕХОДНЫМИ НАСТИЛАМИ.

